

Лагерлёф С.

ПЕРСТЕНЬ ЛЁВЕНШЁЛЬДОВ
ШАРЛОТТА ЛЁВЕНШЁЛЬД
АННА СВЕРД

Сельма Лагерлёф

**Перстень Лёвеншёльд.
Шарлотта Лёвеншёльд.
Анна Свезд (сборник)**

«Алгоритм»

1925-1928

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Лагерлёф С.

Перстень Лёвеншёльд. Шарлотта Лёвеншёльд. Анна Сврд (сборник) / С. Лагерлёф — «Алгоритм», 1925-1928

Сельма Оттилия Ловиса Лагерлёф (1858–1940) – самая знаменитая писательница Швеции, лауреат Нобелевской премии, член Шведской академии, почетный доктор Упсальского университета. Создав двадцать четыре крупных произведения, она на склоне лет написала трилогию о Лёвеншёльдах, ставшую классикой шведской и мировой литературы, так же как и свои самые замечательные произведения, написанные в расцвете сил и таланта, – «Сага о Йесте Берлинге» и «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции». В саге о пяти поколениях семьи Лёвеншёльдов, представленной в данном издании, рассказываются три истории, произошедшие с 1730 по 1860 год. «Перстень Лёвеншёльд» – роман о старинном проклятии. После смерти старого генерала из его склепа пропадает старинный перстень, королевский подарок за верную службу. С этого момента ко всем, к кому бы ни попал перстень, приходят несчастья... Второй и третий романы трилогии «Шарлотта Лёвеншёльд» и «Анна Сврд» – о перипетиях любви. И здесь читателя ждут крутые повороты сюжета, сильные эмоциональные переживания и настоящие душевные драмы.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

© Лагерлёф С., 1925-1928
© Алгоритм, 1925-1928

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Перстень Лёвеншёльдов | 7 |
| Шарлотта Лёвеншёльд | 55 |
| Полковница | 55 |
| Сватовство | 67 |
| Желания | 71 |
| В пасторском саду | 77 |
| Далекарлийка | 82 |
| Утренний кофе | 87 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 90 |
| Комментарии | |

Сельма Лагерлёф
Перстень Лёвеншёльдов. Шарлотта
Лёвеншёльд. Анна Сверд (сборник)

© ЗАО «Мир Книги Ритейл», оформление, 2012

© ООО «РИЦ Литература», 2012

* * *

Перстень Лёвеншёльд

I

Знаю я, бывали в старину на свете люди, не ведавшие, что такое страх. Слыхивала я и о таких, которые за удовольствие почитали пройти по первому тонкому льду. И не было для них большей отрады, чем скакать на необъезженных конях. Да, были среди них и такие, что не погнушались бы сразиться в карты с самим юнкером Алегордом, хотя заведомо знали, что играет он краплеными картами и оттого всегда выигрывает. Знала я и несколько бесстрашных душ, что не побоялись бы пуститься в путь в пятницу или же сесть за обеденный стол, накрытый на тринадцать персон. И все же сомневаюсь, хватило бы у кого-нибудь из них духу надеть на палец ужасный перстень, принадлежавший старому генералу из поместья Хедебю.

Это был тот самый старый генерал, который добыл Лёвеншёльдам и имя, и поместье, и дворянское достоинство. И до тех пор, пока поместье Хедебю оставалось в руках у Лёвеншёльдов, его портрет висел в парадной гостиной на верхнем этаже меж окнами. То была большая картина, занимавшая весь простенок от пола до потолка. Издали казалось, будто это Карл XII^[1] собственной персоной, будто это он стоит здесь в синем мундире, в больших замшевой кожи перчатках, упрямо попирая огромными ботфортами пестрый, в шахматную клетку, пол. Но подойдя поближе, вы видели, что изображен был человек совсем иного рода.

Над воротом мундира возвышалась могучая и грубая мужичья голова; казалось, человек на портрете рожден, чтобы пахать землю до конца дней своих. Но при всем своем безобразии малый этот был с виду и умен, и верен, и славен. Явись он на свет в наши дни, он мог бы стать, по меньшей мере, присяжным заседателем в уездном суде, а то и председателем муниципалитета. Да, кто знает, может стать, он и в риксдаге бы заседал^[2]. Но поскольку жил он во времена великого доблестями короля, он отправился на войну; туда пошел бедным солдатом, а вернулся домой прославленным генералом Лёвеншёльдом; и в награду за верную службу жалован был от казны имением Хедебю в приходе Бру.

Словом, чем дольше вы разглядывали портрет, тем больше примирались с обликом генерала. Казалось, вы начинали понимать – да, таковы и были они, те самые воины, что под началом короля Карла XII проложили ему путь в Польшу и Россию^[3]. Его сопровождали не только искатели приключений и придворные кавалеры, но и такие простые и преданные люди, как этот вот на портрете. Они любили его, полагая, что ради такого короля стоит и жить и умереть.

Когда вы рассматривали изображение старого генерала, рядом всегда оказывался кто-нибудь из Лёвеншёльдов, чтобы заметить невзначай: это-де вовсе не признак тщеславия у генерала, что он стянул перчатку с левой руки, дабы художник запечатлел на портрете большой перстень с печаткой, который старый Лёвеншёльд носил на указательном пальце. Перстень этот жалован был ему королем, а для него на свете существовал лишь один-единственный король. И перстень был изображен вместе с генералом на портрете, дабы засвидетельствовать, что Бенгт Лёвеншёльд остался верен Карлу XII. Ведь немало довелось ему выслушать злых наветов на своего повелителя!^[4] Осмеливались даже уверять, будто неразумием своим и своевольством он довел державу чуть не до гибели; но генерал все равно оставался ярым приверженцем короля. Ибо король Карл был для него человеком, равного которому не знал мир! И тому, кто был близок к нему, довелось узнать, что есть на свете нечто такое, что прекраснее и возвышеннее славы мирской и успехов и за что стоит сражаться.

Точно так же как Бенгт Лёвеншёльд пожелал, чтобы перстень был запечатлен вместе с ним на портрете, пожелал он взять его с собой и в могилу. И тут дело было вовсе не в тщеславии. У него и в мыслях не было похвалиться тем, что он носит на пальце перстень великого короля, когда он предстанет пред Господом Богом и сонмом его архангелов. Скорее всего он надеялся, что лишь только он вступит в ту залу, где восседает окруженный своими лихими рубаками Карл XII, перстень послужит ему опознавательным знаком. Так что и после смерти ему доведется быть вблизи того человека, которому он служил и поклонялся всю свою жизнь.

Итак, когда гроб генерала опустили в каменный склеп, который он приказал воздвигнуть для себя на кладбище в Бру, перстень все еще красовался на указательном пальце его левой руки. Среди провожавших генерала в последний путь нашлось немало таких, кто посетовал, что подобное сокровище последует за покойником в могилу, ибо перстень генерала был почти столь же славен и знаменит, как он сам. Толковали, будто золота в нем столько, что хватило бы на покупку целого имения и что алый сердолик с выгравированными на нем королевскими инициалами стоил ничуть не меньше. И все полагали, что сыновья генерала достойны всяческого уважения за то, что не противились отцовской воле и оставили эту драгоценность при нем.

Если перстень генерала и в самом деле был таков, каким он изображен на портрете, то это была преуродливая и грубая вещица, которую в нынешние времена вряд ли кто пожелал бы носить на пальце. Однако перстень Лёвеншёльдов необычайно ценился двести лет тому назад. Нельзя забывать, что все украшения и сосуды из благородного металла надлежало тогда за редким исключением сдавать в казну, что приходилось бороться с Гёртцовыми далерами и с государственным банкротством^[5] и что для многих золото было чем-то таким, о чем они знали только понаслышке и чего никогда в глаза не видывали. Так и случилось, что в народе не могли забыть про золотой перстень, который был положен в гроб без всякой пользы для людей. Многие были готовы считать даже несправедливым, что он лежал там. Ведь его можно было продать за большие деньги в чужие страны и добыть хлеб тому, кому нечем было кормиться, кроме как сечкой и древесной корой.

Но хотя многие и желали завладеть этой великой драгоценностью, не нашлось никого, кто бы вправду помышлял присвоить ее. Перстень так и лежал в гробу с привинченной крышкой, в замураванном склепе, под тяжелыми каменными плитами, недоступный даже самому дерзкому вору; и думали, что так он и останется там до скончания веков.

II

В марте месяце года 1741-го почил в бозе генерал-майор Бенгт Лёвеншёльд, а спустя несколько месяцев того же года случилось так, что маленькая дочка ротмистра, Йёрана Лёвеншёльда, старшего сына генерала, жившего в ту пору в Хедебю, умерла от кровавого поноса. Хоронили ее в воскресенье, тотчас после службы, и все молещики прямо из церкви последовали за погребальным шествием и проводили покойницу к Лёвеншёльдовой фамильной гробнице, где обе огромные могильные плиты были сдвинуты на самый край. В своде склепа под плитами каменщик сделал пролом, дабы гробик мертвого дитяти можно было поставить рядом с дедушкиным.

Покуда прихожане, собравшиеся у склепа, внимали надгробному слову, может статься, кое-кто и вспомнил о королевском перстне и посетовал на то, что вот лежит он, дескать, сокрытый в могиле без всякой пользы и радости.

А может, кое-кто и шепнул соседу, что теперь не так уж и трудно добраться до перстня: ведь до завтрашнего дня склеп вряд ли замуруют.

Среди тех, кого тревожили подобные мысли, был и некий крестьянин из усадьбы Мелломстуга в Ольсбю; звали его Борд Бордссон. Он был вовсе не из тех, кто стал бы горевать до седых волос из-за перстня. Напротив того, когда кто-нибудь заводил речь про перстень, Борд обычно говорил, что у него-де и так хорошая усадьба и ему незачем завидовать генералу, унеси он с собой в могилу хоть целый шеффель^[6] золота.

И вот теперь, стоя на кладбище, Борд Бордссон, как и многие другие, подумал: «Чудно, что склеп останется открытым». Но не обрадовался этому, а обеспокоился. «Ротмистру, пожалуй, надо бы приказать, чтобы склеп замуровали нынче же после полудня, – подумал он. – Найдутся такие, кому приглянется этот перстень».

Дело это его вовсе и не касалось, но как бы то ни было, а он все больше и больше свикался с мыслью, что опасно оставлять склеп открытым на ночь. Стоял август, ночи были темные, и если склеп не замуруют нынче же, то туда может пробраться вор и завладеть сокровищем.

Его охватил такой страх, что он уже начал было подумывать, не пойти ли ему к ротмистру, чтобы предупредить его. Но Борд твердо знал, что в народе он слывет простофилей, и ему не хотелось выставлять себя на посмешище. «В этом деле ты прав, это уж точно, – подумал он, – но ежели выказать излишнее усердие, тебя поднимут на смех. Ротмистр – малый не промах и уж непременно распорядится, чтобы заделали пролом».

Он так углубился в свои думы, что даже не заметил, как погребальный обряд окончился, и продолжал стоять у могилы. И простоял бы еще долго, если бы жена не подошла к нему и не дернула за рукав кафтана.

– Что это на тебя нашло? – спросила она. – Стоишь тут и глаз не сводишь, будто кот у мышьиной норки.

Крестьянин вздрогнул, поднял глаза и увидел, что, кроме них с женой, никого на кладбище уже нет.

– Да ничего, – ответил он. – Стоял я тут, и взбрело мне на ум...

Он охотно поведал бы жене, что именно ему взбрело на ум, но он знал, что она куда смекалистей его. И сочла бы лишь, что тревожится он зря. Сказала бы, что замурован склеп или нет – никого это дело не касается, кроме ротмистра Лёвеншёльда.

Они отправились домой и вот тут-то, на дороге, повернувшись спиной к кладбищу, Борду Бордссону и выкинуть бы из головы мысли о генеральской гробнице, да где уж там. Жена все толковала о похоронах: о гробе и о гробonosцах, о похоронной процессии и о надгробных речах. А он время от времени вставлял словечко, чтобы не заметила она, что он ничего не видит и не слышит. Женин голос звучал уже где-то вдалеке. А в мозгу у Борда все вертелись одни и те же мысли. «Нынче у нас воскресенье, и, может статься, каменщик не пожелает заделать склеп в свой свободный день. Но коли так, ротмистр мог бы дать могильщику далер, чтобы тот покараулил могилу ночью. Эх, кабы он догадался это сделать!»

Неожиданно Борд Бордссон заговорил вслух сам с собой:

– Что ни говори, а надо было мне пойти к ротмистру! Да, надо было! Эка важность, коли люди и подняли бы меня на смех!

Он совсем забыл, что рядом с ним шла жена, и очнулся, лишь когда она вдруг остановилась и уставилась на него.

– Да ничего, – сказал он. – Это я все над тем делом голову ломаю.

Они снова зашагали к дому и вскоре очутились у себя в Мелломстуге.

Он надеялся, что хоть здесь-то уж избавится от тревожных мыслей, и так оно, может, и случилось бы, примись он за какую-нибудь работу; но день-то был воскресный. Пообедав, жители Мелломстуги разбрелись кто куда. Он один остался сидеть в горнице, и на него снова напало прежнее раздумье.

Немного погодя он поднялся с лавки, вышел во двор и почистил коня скребницей, намереваясь съездить в Хедебю и потолковать с ротмистром. «А не то перстень украдут нынче же ночью», – подумал он.

Однако выполнить свое намерение ему не пришлось. Он был человек робкий. Вместо того он пошел к соседу на двор потолковать о том, что его беспокоило, но сосед был дома не один, и Борд по своей чрезмерной робости снова не осмелился заговорить. Он вернулся домой, так и не вымолвив ни слова.

Лишь только солнце село, он улегся в постель, собираясь тут же заснуть. Но сон не шел к нему. Снова вернулось беспокойство, и он все вертелся да ворочался в постели.

Жене, разумеется, тоже было не уснуть, и вскоре она стала расспрашивать, что с ним такое.

– Да ничего, – по своему обыкновению, отвечал он. – Вот только дело одно у меня все из головы нейдет.

– Да, слыхала я нынче про это не раз, – молвила жена, – теперь давай выкладывай, что задумал. Уж не такие, верно, опасные дела у тебя на уме, чтобы нельзя было про них мне рассказать.

Услыхав эти слова, Борд вообразил, что он тут же уснет, если послушается жены.

– Да вот лежу я и все думаю, – сказал он, – замуровали ли генералов склеп, или же он всю ночь простоит открытый.

Жена засмеялась.

– И я про то думала, – сказала она, – и сдается мне, что всякий, кто был нынче в церкви, об этом же думает. Но чего тебе-то из-за эдакого дела без сна ворочаться?

Борд обрадовался, что жена не приняла его слова близко к сердцу. У него стало на душе спокойнее, и он решил было, что теперь-то уж непременно уснет.

Но как только он улегся поудобней, беспокойство вернулось к нему. Ему чудилось, будто со всех сторон, изо всех лачуг подкрадываются к нему человеческие тени. Все они вышли с одним и тем же тайным умыслом, все направляются к кладбищу и к тому самому открытому склепу.

Он попытался было лежать не двигаясь, чтобы дать жене уснуть, но у него заболела голова и пот прошиб. И поневоле он стал снова вертеться да ворочаться в постели.

Под конец у жены лопнуло терпение, и она как бы в шутку бросила ему:

– Ей-богу, муженек, по мне, так уж лучше бы тебе самому сходить на кладбище да поглядеть, все ли ладно с могилой, чем лежать тут да ворочаться с боку на бок, глаз не смыкая.

Не успела она выговорить эти слова, как муж ее выскочил из постели и стал натягивать на себя кафтан. Он решил, что жена права. От Ольсбю до церкви в Бру ходьбы было не более получаса. Через час он вернется домой и спокойно проспит всю ночь напролет.

Но не успел он выйти за порог, как жене подумалось, что мужу будет, верно, не по себе на кладбище, коли он пойдет туда один-одинешенек. Она быстро вскочила и так же быстро набросила на себя платье.

Мужа она нагнала на холме близ Ольсбю. Услыхав ее шаги, Борд расхохотался.

– За мной пошла, проведать, не стяну ли я генералов перстень? – спросил он.

– Ах ты мой сердечный! Уж я-то знаю, что ничего такого у тебя и в мыслях нет. Я пошла, только чтобы быть с тобой, коли тебе явится дух кладбищенский либо лошадь-мертвяк^[7].

Они прибавили шагу. Настала ночь, и в непроглядной тьме виднелась на западе лишь узенькая светлая кромка. Муж с женой хорошо знали дорогу. Они разговаривали и были в веселом расположении духа. Ведь на кладбище они шли только для того, чтобы взглянуть, открыт ли склеп, и чтобы Борду не мучиться без сна, ломая себе над этим голову.

– Нет, никак не поверить, будто они там в Хедебю такие растяпы, что не замуруют перстень сызнава!

– Да уж вскорости все узнаем, – молвила жена. – А вот, кажись, и кладбищенская ограда!

Крестьянин остановился, подивившись веселому голосу жены. Нет, быть того не может, чтобы она отправилась на кладбище с иными помыслами, чем он.

– Прежде чем войти на кладбище, – сказал Борд, – нам, поди, надо бы уговориться, что станем делать, ежели могила открыта.

– Уж и не знаю, закрыта ли, открыта ли, а только наше дело вернуться домой да лечь спать!

– И то верно, твоя правда! – сказал, снова зашагав, Борд. – И не жди, чтобы кладбищенские ворота были об эту пору не заперты, – добавил он.

– Пожалуй, что так, – подхватила жена. – Придется нам перелезть через стену, ежели захотим навестить генерала да поглядеть, каково ему там.

Муж снова удивился. Он услышал, как с легким шумом посыпались вниз мелкие камешки, и тут же увидел, как на фоне светлой полоски на западе вырисовывается фигура жены. Она влезла уже наверх, на стену, и ничего мудреного в том не было, потому что стена была невысока – всего несколько футов. Диковинным показалось ему только то, что жена выказала такую ретивость, взобравшись наверх прежде его.

– Ну вот, – сказала она. – Давай руку, я пособлю тебе взобраться!

Вскоре стена осталась позади, и теперь они молча и осторожно пробирались среди невысоких могильных холмиков.

Один раз Борд споткнулся о такой холмик и чуть было не упал. Ему почудилось, будто кто-то подставил ему ножку. Он так испугался, что весь задрожал и заговорил громко, во весь голос, чтоб мертвецы поняли, с какими намерениями он пришел на кладбище.

– Не хотел бы я прийти сюда, будь дело мое неправое.

– Еще чего скажешь, – возразила жена. – Уж тут-то ты прав. А вон уж и могила виднеется!

Под темным ночным небом он разглядел вывороченные из земли могильные плиты.

Вскоре они были уже у самой могилы и увидели, что она открыта. Пролом в склепе не был заделан.

– Ну и недотепы же они, – выругался Борд. – Будто нарочно хотят ввести в тяжкое искушение тех, кто знает, какая драгоценность там упрятана.

– Верно, надеются, что никто не посмеет тронуть покойника, – сказала жена.

– Да и вообще-то мало радости лезть в такую могилу, – молвил муж. – Спрыгнуть-то вниз, пожалуй, не трудно, только потом сиди там, как лиса в норе.

– Нынче утром я видала, как они опустили в склеп лесенку, – сказала жена. – Но ее уж, поди, убрали.

– А погляжу-ка я и в самом деле, – сказал муж и стал шарить руками в могильном проломе. – Нет, гляди-ка ты! – воскликнул он. – Слыхано ли дело! Лесенка-то еще тут!

– Ну и растяпы! – поддакнула жена. – Только, по мне, тут ли лесенка, или нет – разница невелика. Ведь тот, кто там внизу, и сам сможет за свое добро постоять.

– Кабы знать это дело! – подхватил муж. – Может, хоть лесенку убрать?

– Ничего в могиле трогать не станем, – сказала жена. – Лучше будет, коли могильщик поутру увидит могилу точь-в-точь такой же, какой оставил ее накануне.

Растерянные и нерешительные, стояли они, уставившись на черный, зияющий пролом. Им бы пойти теперь домой, но нечто таинственное, нечто такое, чего никто из них не осмеливался назвать своим именем удерживало их на кладбище.

– Да можно бы оставить лесенку и на месте, – произнес наконец Борд, – будь я уверен, что у генерала есть сила удержать воров.

– Ты ведь можешь спуститься вниз, в склеп, – посоветовала жена, – вот тогда сам увидишь, какая у него сила.

Казалось, будто Борд только и дожидался от жены этих слов. Мигом очутился он подле лесенки и стал спускаться в пролом.

Но только ступил он на каменный пол подземелья, как услышал поскрипыванье лесенки и увидел, что следом за ним лезет и жена.

– Вон что, ты и сюда за мной тащишься, – молвил он.

– Боязно мне оставить тебя один на один с покойником.

– А не так уж он и страшен, – возразил муж. – И не чую, что холодная рука хочет меня удушить.

– Да уж ничего он нам, поди, не сделает, – молвила жена. – Он-то знает, что у нас и в мыслях не было украсть перстень. Вот кабы мы потехи ради стали отвинчивать крышку гроба, тогда другое дело.

Муж ощупью пробрался к гробу генерала и принялся шарить рукой вдоль крышки. Он отыскал винт с небольшим крестиком на шляпке.

– Тут будто бы нарочно все так и прилажено для вора, – сказал Борд, принимаясь ловко и осторожно отворачивать винты гроба.

– Слышишь что-нибудь? – спросила жена. – Не шевелится ли он в гробу?

– Тут тихо, как в могиле, – ответил муж.

– Он ведь, поди, не думает, что мы замыслили отнять у него что ему всего дороже, – молвила жена. – Вот кабы мы крышку гроба подняли, тогда другое дело.

– Да, ну тут уж придется тебе мне пособить, – сказал муж.

Они подняли крышку и теперь уже не в силах были сдержать алчность. Им не терпелось овладеть сокровищем. Они сорвали перстень с истлевшей руки, опустили крышку и, не проронив ни единого слова, потихоньку выбрались из могилы. Проходя через кладбище, они взялись за руки и, только оказавшись по другую сторону низкой серокаменной кладбищенской стены и спустившись на проселок, осмелились заговорить.

– Думается мне, – сказала жена, – что он сам этого хотел. Понял, что негоже покойнику беречь такое сокровище, вот и отдал его нам по доброй воле.

Муж расхохотался.

– Да, хороша ты, нечего сказать, – вымолвил он. – Нет уж, не заставишь ты меня поверить небылице, будто он отдал нам перстень по доброй воле; просто у него силы не было нам помешать.

– Знаешь что, – молвила жена, – нынче ночью ты был страсть какой храбрый. Мало таких, кто осмелится спуститься в могилу.

– А я вовсе и не думаю, что поступил неладно. У живого я бы никогда и далера не взял, ну а что за беда взять у мертвого то, что ему вовсе не нужно.

Шли они гордые и довольные собой и только диву давались, что никому, кроме них, не взбрело в голову прибрать к рукам перстень. Борд сказал, что съездит в Норвегию и продаст там перстень, как только представится какая-нибудь оказия. Им казалось, что за перстень удастся выручить столько денег, что им никогда больше не придется испытывать страх за завтрашний день.

– А это что? – внезапно остановившись, спросила жена. – Что я вижу? Неужто заря занимается? На востоке-то вроде светает!

– Нет, солнцу еще рано вставать, – сказал крестьянин. – Видать – пожар. И вроде бы где-то в стороне Ольсбю. Уж не...

Его прервал громкий крик жены.

– Это у нас горит! – кричала она. – Мелломстуга горит! Генерал поджег ее!

В понедельник утром в усадьбу Хедебю, расположенную совсем близко от церкви, ворвался могильщик и, едва переводя дух, выпалил: им с каменщиком, который собирался вновь замуровать склеп, показалось, будто крышка генеральского гроба съехала набок и что щиты с гербами и орденские ленты, которыми она убрана, сдвинуты с места.

Немедля люди спустились в склеп и обнаружили, что там царил страшный беспорядок и что винты гроба сорваны. Когда сняли крышку, то сразу же увидели, что на указательном пальце левой руки генерала перстня нет.

III

Я думаю о короле Карле XII и пытаюсь представить себе, как люди любили его и как боялись.

Ибо я знаю, что незадолго перед смертью королю случилось однажды зайти в карлстадскую церковь во время богослужения. Он приехал в город верхом, один и неожиданно; зная, что в церкви идет служба, он оставил коня у церковных ворот и вошел не через главный вход, а через притвор, как обычный прихожанин.

Но уже в дверях он увидел, что пастор поднялся на кафедру, и, не желая мешать ему, остался стоять там, где стоял. Не отыскав себе даже место на скамье, а прислонясь спиной к дверному косяку, он стал слушать проповедь.

Но хотя он и вошел незаметно и молча стоял в сумраке под церковными хорами, с самой задней скамьи кто-то узнал его. Быть может, то был старый солдат, потерявший руку или ногу в походах и отосланный домой еще до Полтавы. И солдату подумалось, что этот человек с зачесанными назад волосами и орлиным носом, должно быть, и есть сам король. И, узнав его, он в тот же миг поднялся со скамьи.

Соседи по скамье, верно, удивились, зачем он поднялся, и тогда он шепнул им, что сам король здесь, в церкви. И вслед за ним невольно поднялись все, кто сидел на этой скамье, как это бывало всегда, когда с алтаря или с кафедры возвещались слова самого Господа Бога.

Весть о том, что король в церкви, мигом разнеслась с одной скамьи на другую, и все как один – и стар и млад, и богатые и бедные, и больные и здоровые – все поднялись с места.

Случилось это, как уже сказано, незадолго до смерти короля Карла, когда начались его горести и невзгоды. Пожалуй, во всей церкви не нашлось бы тогда человека, который не лишился бы дорогих его сердцу родичей либо не потерял всего своего состояния, и всё по вине этого короля. И если кому-нибудь даже и не приходилось роптать на собственную долю, ему стоило бы подумать о том, как разорена страна, сколько потеряно из завоеванных земель, и о том, что все королевство окружено врагами^[8].

И тем не менее, тем не менее... Стоило людям услышать разнесенную шепотом молву о том, что здесь, в храме Божьем, находится тот самый человек, которого столько раз проклинали, как все разом поднялись с места.

Поднялись и остались стоять. Никто и не подумал сесть снова. Это было попросту невозможно. Там у бокового входа стоял сам король, и куда он стоял, нужно было стоять всем. Если б кто-нибудь сел, он нанес бы королю бесчестье.

Может статься, проповедь продлится долго, но ничего не поделаешь, придется потерпеть. Никто не хотел оскорбить его, стоявшего у боковых дверей.

Он был солдатским королем и привык к тому, что солдаты охотно шли за него на смерть^[9]. Но здесь, в церкви, вокруг него были простые горожане и ремесленники, простые шведские мужчины и женщины, никогда в жизни не слыхавшие команду: «Взять на караул!» Однако стоило ему только показаться среди них, и они уже подпадали под его власть. Они пошли бы за ним в огонь и в воду, отдали бы ему все, чего он пожелает, они верили в него,

боготворили его. Во всей церкви прихожане молились за этого необыкновенного человека, который был королем Швеции.

Я пытаюсь вдуматься во все это, я пытаюсь понять, почему любовь к королю Карлу могла безраздельно завладеть человеческой душой и так глубоко укорениться даже в самом угрюмом и суровом старом сердце, что все люди думали – любовь эта будет сопутствовать ему и после смерти.

И потому, после того как обнаружилась кража перстня Лёвеншёльдов, в приходе Бру больше всего дивились, что у кого-то хватило духа на такое недоброе дело. А вот любящих женщин, погребенных с обручальным кольцом на пальце, – тех, по мнению прихожан, воры могли грабить без опаски. Или же если какая-нибудь нежная мать уснула вечным сном, держа локон своего ребенка, то и его безбоязненно могли бы вырвать у нее из рук. И если какого-нибудь пастора уложили в гроб с Библией в головах, то и Библию эту, верно, можно было бы похитить у него без всякого вреда для лиходея. Но похитить перстень Карла XII с пальца мертвого генерала из поместья Хедебю! Невозможно представить себе, чтобы человек, рожденный женщиной, решился на такое отчаянное святотатство!

Разумеется, не раз учиняли розыск, но это ни к чему не привело – лиходея так и не нашли. Вор пришел и ушел во мраке ночи, не оставив ни малейших улик, которые могли бы навести на след.

И этому опять-таки дивились. Ведь ходило немало толков о призраках, которые являлись по ночам, чтоб обличить преступника, свершившего куда меньшее злодеяние.

Но в конце концов, когда стало известно, что генерал отнюдь не бросил перстень на произвол судьбы, а напротив, боролся за то, чтобы вернуть его назад, боролся с той самой грозной неумолимостью, какую выказал бы, будь перстень украден у него при жизни, ни один человек ничуть тому не изумился. Никто не выразил сомнения в том, что так оно все и было, ибо ничего иного от генерала и не ждали.

IV

Это случилось много лет спустя после того, как бесследно исчез перстень генерала. В один прекрасный день пастора из Бру призвали к бедному крестьянину Борду Бордссону с отдаленного сэттера^[10] в лесах Ольсбю. Борд Бордссон лежал на смертном одре и непременно желал перед смертью поговорить с самим пастором. Пастор был человек пожилой и, услышав, что надобно навеститься к больному, жившему за много миль от Бру в непроходимой чаще, решил – пусть вместо него поедет пастор-адьюнкт^[11]. Но дочь умирающего, которая принесла пастору эту весть, отказалась наотрез. Пусть едет сам пастор, или вообще никого не надо. Отец-де кланялся и наказал передать: ему надо рассказать что-то, о чем можно знать одному только пастору, а больше никому на свете.

Услышав это, пастор порывлся в своей памяти. Борд Бордссон был славный малый. Правда, чуть простоватый, но не из-за этого же ему тревожиться на смертном одре. Ну а ежели рассудить по-человечески, то священник сказал бы, что Борд Бордссон был один из тех, кто обижен Богом. Последние семь лет крестьянина преследовали всяческие беды и напасти. Усадьба сгорела, а скотина либо пала от повального мора, либо ее задрали дикие звери. Мороз опустошил пашни, так что Борд обнищал, как Иов. Под конец жена его пришла в такое отчаяние от всех этих напастей, что бросилась в озеро. А сам Борд перебрался в пастушью хижину в глухом лесу; то было единственное, чем он еще владел. С той поры ни сам он, ни дети его не показывались в церкви. Об этом не раз толковали в пасторской усадьбе, недоумевая, живут ли еще Бордссоны в их приходе, или нет.

– Насколько я знаю твоего отца, он не совершал такого тяжкого греха, в котором не мог бы исповедаться адьюнкту, – сказал пастор, глядя с благосклонной улыбкой на дочь Борда Бордссона.

Для своих четырнадцати лет она была не по возрасту рослая и сильная девчонка. Лицо у нее было широкое, черты лица грубые. Вид у нее был чуточку простоватый, как и у отца, но выражение детской невинности и прямодушия скрашивало ее лицо.

– А вы, досточтимый господин пастор, верно, не боитесь Бенгта-силача? Ведь не из-за него вы не отваживаетесь поехать к нам? – спросила девочка.

– Что такое ты говоришь, детка? – удивился пастор. – Что это за Бенгт-силач, о котором ты толкуешь?

– А тот самый, кто подстраивает так, что все у нас не ладится.

– Вот как, – протянул пастор, – вот как. Стало быть, это тот, кого зовут Бенгт-силач?

– А разве вы, досточтимый господин пастор, не знаете, что это он поджег Меллом-стугу?

– Нет, об этом мне слышать не приходилось, – ответил пастор, но сразу же поднялся с места и взял свой треск и небольшой деревянный потир, которые всегда возил с собой, когда ездил по приходу.

– Это он загнал матушку в озеро, – продолжала девочка.

– Худшей беды быть не может! – воскликнул пастор. – А он жив еще, этот Бенгт-силач? Ты видала его?

– Нет, видать-то я его не видала, – отвечала она, – но, ясное дело, жив. Это из-за него нам пришлось перебраться в лес и жить среди диких скал. Там он оставил нас в покое до прошлой недели, когда батюшка рубанул себе по ноге топором.

– И в этом тоже, по-твоему, виноват Бенгт-силач? – совершенно спокойно спросил пастор, но сразу же отворил дверь и крикнул работнику, чтобы тот седлал коня.

– Батюшка сказал, что Бенгт-силач заговорил топор, а не то бы ему ни в жисть не повредить ногу. Да и рана-то была вовсе не опасная; а нынче батюшка увидел, что у него антонов огонь в ноге. Он сказал, что теперь-то уж непременно помрет, потому как Бенгт-силач доконал его. Вот батюшка и послал меня сюда и наказал передать, чтобы вы сами к нему приехали, и как можно скорее.

– Ладно, поеду, – сказал пастор.

Пока девочка рассказывала, он набросил на себя дорожный плащ и надел шляпу.

– Одного я не могу понять, – сказал он, – с чего бы этому самому Бенгту-силачу так донимать твоего отца? Уж не задел ли его когда-нибудь Борд за живое?

– Да, от этого батюшка не отпирается, – подтвердила девочка. – Только чем он обидел его, о том батюшка ни мне, ни брату не сказывал. Сдается мне, что об этом-то он и хотел поведать вам, досточтимый господин пастор.

– Ну, коли так, – сказал пастор, – надо поторопиться.

Натянув перчатки с отворотами, он вышел вместе с девочкой из дому и сел на лошадь.

За все время, пока они ехали к пастушьей хижине в лесу, пастор не проронил ни слова. Он сидел, раздумывая о всех тех диковинах, о которых порассказала ему девочка. Сам он на своем веку встречал лишь одного человека, прозванного в народе Бенгтом-силачом. Но ведь может статься, что девочка говорила не о нем, а совсем о другом Бенгте.

Когда пастор въехал на сэттер, ему навстречу выскочил молодой парень. То был сын Борда Бордссона – Ингильберт. Он был несколькими годами старше сестры, такой же рослый и крупный, как она, и схож с ней лицом. Но глаза у него были посажены глубже, а вид – вовсе не такой прямодушный и добросердечный, как у нее.

– Далеколько вам было ехать, господин пастор, – сказал Ингильберт, помогая пастору спешиться.

– О да, – сказал старик, – но я приехал быстрее, чем полагал.

– Мне самому бы надо было привезти вас сюда, господин пастор, – сказал Ингильберт, – но я рыбачил вчера вечером допоздна. Лишь вернувшись домой, я узнал, что у отца в ноге антонов огонь и что сестру послали за вами, господин пастор.

– Мэрта не уступит любому парню, – сказал пастор. – Все сошло как нельзя лучше. Ну а как Борд сейчас?

– По правде говоря, он совсем плох, но еще в уме. Обрадовался, когда я сказал ему, что вы уже выехали из лесу.

Пастор вошел к Борду, а брат с сестрой уселись на широкие каменные плиты возле лачуги и стали ждать. Настроены они были торжественно и разговаривали об отце, который был при смерти. Говорили, что он всегда был добр к ним. Но счастлив не был никогда с того самого дня, как сгорела Мелломстуга, так что, пожалуй, для него лучше будет расстаться с такой злосчастной жизнью.

Вдруг сестра сказала:

– У батюшки, видно, было что-то на совести!

– У батюшки? – удивился брат. – Уж у него-то что могло быть на совести? Да я ни разу не видал, чтобы он замахнулся на скотину или на человека.

– Но ведь в чем-то он собирался исповедаться пастору, и никому больше.

– Он так сказал? – спросил Ингильберт. – Сказал, что перед смертью хочет в чем-то исповедаться пастору? Я-то думал, он позвал его сюда только для того, чтобы причаститься.

– Когда он нынче посылал меня за пастором, он сказал, чтоб я упростила его приехать. Ведь пастор – единственный человек на свете, кому он может покаяться в великом и тяжком грехе.

Немного подумав, Ингильберт воскликнул:

– Чудно! Уж не придумал ли он все это, пока слонялся тут один? Как и небылицы, которые он, бывало, рассказывал про Бенгта-силача. Все это не иначе как пустые бредни, и ничего больше.

– Про Бенгта-силача он как раз и хотел поговорить с пастором, – сказала девочка.

– Тогда можешь побиться об заклад, что это одни бредни, – сказал Ингильберт.

С этими словами он поднялся с места и подошел к оконцу в стене хижины, которое было отворено, чтобы немного света и воздуха могло проникнуть внутрь. Постель больного стояла так близко от оконца, что Ингильберт мог слышать каждое слово. И сын стал прислушиваться, ничуть не мучаясь угрызениями совести. Быть может, никто ему никогда прежде не говорил, что подслушивать исповедь грешно. Во всяком случае, он был уверен, что у отца нет никаких страшных тайн, которые он мог бы выдать.

Постояв немного у оконца, Ингильберт снова подошел к сестре.

– Ну, что я говорил? – начал он. – Отец рассказывает пастору, что это они вместе с матушкой украли королевский перстень у старого генерала Лёвеншёльда.

– Господи помилуй! – воскликнула сестра. – Уж не сказать ли нам пастору, что все это небылицы, что он сам на себя напраслину возводит.

– Сейчас мы ничего не можем сделать, – возразил Ингильберт. – Пусть теперь говорит что хочет. А с пастором мы после потолкуем.

Он снова подкрался к оконцу и стал подслушивать. На сей раз он не заставил сестру долго ждать и вскоре снова подошел к ней.

– Теперь он говорит, что той же ночью, когда они с матушкой побывали в склепе и взяли перстень, сгорела Мелломстуга. Он думает, будто сам генерал поджег двор.

– По всему видать, что это одна блажь, – сказала сестра. – Нам-то он не меньше сотни раз говорил, что Мелломстугу подпалил Бенгт-силач.

Не успела она договорить эти слова, как Ингильберт снова вернулся на свое место у оконца. На сей раз он долго стоял там, прислушиваясь, а когда снова подошел к сестре, лицо у него потемнело.

– Отец говорит, что это генерал наслал на него все беды, чтоб заставить вернуть перстень. Он говорит, что матушка испугалась и захотела пойти вместе с ним к ротмистру в Хедебю и отдать перстень. Батюшка и рад бы был послушаться ее, да не посмел, думал, что их обоих повесят, коли они повинятся, что обокрали покойника. Но уж тут матушка не могла снести этого, пошла и утопилась.

Тут и лицо сестры потемнело от ужаса.

– Но батюшка всегда говорил, – начала было она, – что это был...

– Ну да! Он только что толковал пастору, будто не смел сказать ни одной живой душе, кто напустил на него все эти беды. Только нам он говорил, что его донимает человек по прозвищу Бенгт-силач. Он сказал, что крестьяне называли генерала Бенгт-силач.

Мэрта Бордссон так и обмерла.

– Стало быть, это правда, – прошептала она тихо – так тихо, словно то были ее предсмертные слова.

Она огляделась по сторонам. Хижина стояла на берегу лесного озерца, а вокруг высились мрачные, одетые лесом гребни гор. Насколько хватал глаз, не видно было человеческого жилья, не было никого, к кому она могла бы обратиться. Повсюду царило одиночество.

И ей почудилось, что в тени деревьев, во мраке караулит покойник, готовясь наслать на них новые беды.

Она была еще таким ребенком, что не могла по-настоящему осознать, какой позор и бесчестье навлекли на себя ее родители. Она понимала одно – что их преследует какой-то призрак, какое-то беспощадное, всемогущее существо из загробного царства. Она ждала, что этот пришелец в любое время явится и она увидит его; Мэрте стало так страшно, что у нее зуб на зуб не попадал.

Она подумала об отце, который вот уже целых семь лет таил в душе такой же ужас. Ей минуло недавно четырнадцать, и она помнила, что ей было всего семь, когда сгорела Мелломстуга. И все это время отец знал, что мертвец охотится за ним. Да, лучше ему умереть.

Ингильберт снова подслушивал у оконца хижины, а потом вернулся к сестре.

– Ты ведь не веришь этому, Ингильберт? – спросила она, как бы в последний раз пытаясь избавиться от страха. Но тут она увидела, как у Ингильберта дрожат руки, а глаза застыли от ужаса. Ему тоже было страшно, ничуть не меньше, нежели ей.

– Чему же мне тогда верить? – прошептал Ингильберт. – Батюшка говорит, что много раз пытался уехать в Норвегию – хотел продать там перстень, но ему никак не удавалось с места тронуться. То сам захворает, то конь сломает ногу, как раз когда надо съезжать со двора.

– А что сказал пастор? – спросила девочка.

– Он спросил отца, зачем он держал у себя перстень все эти годы, ежели так опасно было владеть им. Но батюшка ответил: он-де думал, что ротмистр велит его повесить, ежели он признается в своем злодействе. Выбирать было не из чего, вот и пришлось ему хранить перстень. Но теперь батюшка знает, что помрет, и хочет отдать перстень пастору, чтобы его положили генералу в могилу, а мы бы, дети, избавились от проклятия и смогли бы снова перебраться в приход к людям.

– Я рада, что пастор здесь, – сказала девочка. – Не знаю, что и делать, когда он уедет. Я так боюсь. Мне чудится, будто генерал стоит вон там, под елками. Подумать страшно, что он бродил тут каждый день и подстерегал нас! А отец, может, даже видел его!

– Я думаю, что отец и вправду видел его, – согласился Ингильберт.

Он снова подошел к хижине и стал прислушиваться. Когда же он вернулся назад к сестре, в глазах его уже было иное выражение.

– Я видел перстень, – сказал он. – Батюшка отдал его пастору. Перстень так и горит! Алый с золотом! Так и переливается. Пастор взглянул на перстень и сказал, что признал его, что перстень этот – генерала. Подойди к оконцу, и ты увидишь его!

– Лучше гадюку в руки возьму, чем стану глядеть на этот перстень, – сказала девочка. – Неужто ты в самом деле думаешь, что на него любо глядеть?

Ингильберт отвернулся.

– Знаю, что он – наш погубитель, но все равно мне он по душе.

Только он произнес эти слова, как до брата и сестры донесся сильный и громкий голос пастора. До сих пор он давал говорить больному. Теперь настал его черед.

Само собой разумеется, что пастор не мог примириться со всеми этими безумными речами о кознях мертвеца. Он пытался доказать крестьянину, что его постигла Божья кара за столь чудовищное злодеяние, как кража у покойника. Пастор вообще не желал согласиться с тем, будто генерал способен учинять пожары либо насылать хворь на людей и на скот. Нет, беды, разившие Борда, – это кара Божья, избранная, дабы принудить его раскаяться и вернуть краденое еще при жизни, после чего грех ему будет отпущен, и он сможет принять блаженную кончину.

Старый Борд Бордссон тихо лежал в постели и слушал пастора, ни словом ему не прекословя. Но, должно быть, тот так и не убедил его. Слишком много ужасов пришлось ему пережить, и не мог он поверить, что все они ниспосланы Богом.

Но брат с сестрой, дрожавшие от ужаса перед наваждениями и призраками, тут же воспрянули духом.

– Слышишь? – спросил Ингильберт, схватив за руку сестру. – Слышишь, пастор говорит, что то был вовсе не генерал.

– Да, – ответила сестра.

Она сидела, сжав руки. Каждое слово, сказанное пастором, глубоко западало ей в душу.

Ингильберт встал. Порывисто вздохнув, он выпрямился. Он был теперь свободен от с недавнего его страха. Он стал с виду совсем другим человеком. Быстрым шагом подошел он к хижине, отворил дверь и вошел.

– Что такое? – спросил пастор.

– Я хочу поговорить с отцом!

– Ступай отсюда! С твоим отцом теперь говорю я! – строго сказал пастор.

Обернувшись к Борду Бордссону, он снова стал говорить с ним то ласково-властным тоном, то ласково-участливым.

Ингильберт, закрыв лицо руками, уселся на каменные плиты. Им овладело сильное беспокойство. Он снова вошел в лачугу, но его снова выставили за дверь.

Когда все было кончено, настал черед Ингильберта проводить пастора в обратный путь через лес. Вначале все шло хорошо, но вскоре им пришлось ехать гатью через болото. Пастор не мог припомнить, чтобы он утром переезжал такое болото, и спросил, не сбился ли Ингильберт с дороги. Но тот ответил, что гатью будет короче всего миновать болото и что она выведет их из лесу напрямик.

Пастор пристально взглянул на Ингильберта. Он уже заметил, что сын, подобно отцу, одержим жадной золотом. Ведь Ингильберт не раз входил в хижину, словно хотел помешать отцу отдать перстень.

– Эх, Ингильберт! Это узкая и опасная дорожка, – сказал пастор. – Боюсь, как бы конь не споткнулся на скользких бревнах.

– А я поведу коня и вам, досточтимый господин пастор, нечего будет бояться, – сказал Ингильберт и в тот же миг схватил пасторского коня за поводья.

Когда же они очутились посреди болота, где со всех сторон их окружала лишь зыбкая трясина, Ингильберт стал пятить пасторского коня назад. Казалось, он хотел заставить его свалиться с узкой гати.

Конь встал на дыбы, а пастор, который с трудом держался в седле, закричал провожатому, чтобы тот, бога ради, отпустил поводья. Но Ингильберт, казалось, ничего не слышал, и пастор увидел, как он, потемнев лицом, стиснув зубы, одолевает коня, чтобы столкнуть его вниз в вязкую топь. И животное и всадника ждала верная смерть.

Тогда пастор вытащил из кармана сафьяновый мешочек и швырнул его прямо в лицо Ингильберту.

Тот отпустил поводья, чтобы поймать мешочек, и отпустил пасторского коня, и конь в бешеном испуге рванулся вперед по узкой гати. Ингильберт застыл на месте, не сделав ни малейшей попытки догнать пастора.

V

Не приходится удивляться, что после такого поступка Ингильберта у пастора помутилось в голове. День уже клонился к вечеру, когда ему удалось добраться до жилья. Ничего мудреного не было и в том, что из лесу он попал не на дорогу в Ольсбю, которая была и лучше и короче прочих, а пустился в объезд к югу, так что вскоре очутился у самых ворот Хедебю.

Плутая на коне в лесной чащобе, он только и помышлял о том, чтобы, вернувшись благополучно домой, первым делом послать за ленсманом^[12] и попросить его отправиться в лес и отобрать у Ингильберта перстень. Но, проезжая мимо Хедебю, он стал раздумывать, не свернуть ли ему туда по пути и не рассказать ли ротмистру Лёвеншёльду, кто дерзнул спуститься в склеп и украсть королевский перстень.

Казалось бы, над таким ясным делом голову долго ломать не приходилось. Но пастор все же колебался, зная, что ротмистр и его отец не очень ладили между собой. Ротмистр был столь же миролюбив, сколь отец его – воинствен. Он поспешил выйти в отставку, лишь только мы замирились с русскими^[13], и с тех пор все свои силы отдавал восстановлению благоденствия в стране, совершенно разоренной за годы войны. Он был против единовластия и воинских почестей и даже имел обыкновение дурно отзываться о самом Карле XII, о его высокой персоне, как, впрочем, и о многом другом, что так высоко ценил его старик отец. Для вящей верности надобно сказать, что сын ревностно участвовал в риксдаговских распрях, причем всегда как сторонник партии приверженцев мира^[14]. Да, у сына с отцом немало было поводов для раздоров.

Когда семь лет тому назад был украден генеральский перстень, пастор, да и многие другие сочли, что ротмистр не слишком старался получить его обратно. Все это заставило теперь пастора подумать: «Что пользы, ежели я возьму на себя труд спешиться здесь, в Хедебю. Ротмистр все равно не спросит, кто нынче носит королевский перстень на пальце – отец или Ингильберт. Лучше всего мне тотчас уведомить о краже ленсмана Карелиуса».

Но пока пастор таким путем держал совет с самим собой, он увидел, что ворота, преграждавшие путь в Хедебю, тихонько распахнулись, да так и остались отворенными настужь.

Это было поистине чудо, но мало ли на свете разных ворот, которые таким же манером распахиваются сами по себе, если они плохо затворены. И пастор не стал больше ломать голову над этим обстоятельством, но счел его знаком того, что ему надобно въехать в Хедебю.

Ротмистр принял его радушно, куда приветливее, чем обычно.

– Какая честь для нас, что вы, достопочтенный брат, заглянули к нам. Я как раз жаждал встречи с вами и сегодня не раз намеревался пойти к вам в усадьбу и поговорить об одном весьма необычном деле!

– Понапрасну бы только прошлись, брат Лёвеншёльд, – сказал пастор. – Еще рано поутру я поехал верхом по приходским делам на сэттер в Ольсбю и вот только сейчас возвращаюсь назад. Ну и денек выдался для меня, старика! Столько приключений!

– То же и со мной было, хотя я вряд ли вставал нынче с кресла. Уверяю вас, достопочтенный брат, что хотя мне скоро минет пятьдесят и я бывал в разных переделках, как в суровые военные годы, так и потом, чудес, подобных нынешним, мне переживать не приходилось.

– А раз так, – молвил пастор, – первое слово я уступаю вам, брат Лёвеншёльд. Я тоже могу поведать вам, высокочтимый брат, весьма примечательную историю. Но не стану утверждать, что она удивительнее всех, что приключались со мной на веку.

– Но может статься, – возразил ротмистр, – что вам, достопочтенный брат, моя история вовсе не покажется такой уж необыкновенной. Поэтому-то я и хочу спросить: вы слышали, верно, что рассказывают о Гатенйельме^[15]?

– Об этом чудовищном пирате и отчаянном капере^[16], которого король Карл произвел в адмиралы? Кто же не слыхивал, что о нем рассказывают!

– Так вот, – продолжал ротмистр, – нынче за обедом речь зашла о давних военных годах. Мои сыновья и их гувернер принялись расспрашивать меня, как и что было в старину; ведь молодые любят слушать про былое. И заметьте себе, брат мой, что они никогда не спрашивают о той страдной и суровой поре, которую пришлось пережить нам, шведам, после смерти Карла, когда мы из-за войны да безденежья отстали во всем. Нет, им интересны лишь пагубные военные лета! Ей-богу, и не поверишь: ведь они ни во что не ставят то, что отстраиваешь заново сгоревшие дотла города, закладываешь заводы и мануфактуры, выкорчевываешь леса и поднимаешь новь. Думается, брат мой, сыновья мои стыдятся меня и моих современников за то, что мы покончили с военными походами и перестали опустошать чужие земли. Видно, они думают, что мы куда хуже наших отцов и что нам изменило былое могущество шведов!

– Вы, брат Лёвеншёльд, совершенно правы, – сказал пастор. – Такая любовь молодых людей к ратному делу заслуживает всяческого сожаления.

– Ну вот я и исполнил их желание, – продолжал ротмистр, – и раз они хотели услышать о каком-нибудь великом герое войны, я и рассказал им о Гатенйельме и о его жестоким обхождении с купцами и мирными путешественниками, желая вызвать своим рассказом ужас и презрение. И когда мне это удалось, я попросил своих домочадцев поразмыслить над тем, что этот Гатенйельм был истый сын военного времени, и поинтересовался, хотелось бы им, чтобы землю населяли подобные исчадия ада?

Но не успели сыновья мои ответить, как слово взял их гувернер и попросил разрешения рассказать еще одну историю о Гатенйельме. И поскольку он заверил меня, что это приключение капера лишь подкрепит мои прежние высказывания об ужасающих зверствах и бесчинствах Гатенйельма, я дал свое согласие.

Он начал свой рассказ с того, что Гатенйельм погиб в молодые лета и тело его было погребено в онсальской церкви^[17] в мраморном саркофаге, который он похитил у датского короля^[18]. После этого в церкви стали появляться такие страшные привидения, что онсальским прихожанам стало невмоготу. Они не нашли иного средства, кроме как вытащить тело из гроба и предать его земле на пустынной шхере далеко-далеко в море. Отныне церковь обрела мир и покой. Но рыбаки, которым случалось заплывать в воды, близкие к новому месту упокоения Гатенйельма, рассказывали, что оттуда всегда были слышны шум и возня

и в любую погоду морская пена бурно вскипала над злосчастной шхерой. Рыбаки полагали, что все это было дело рук корабельщиков и торговых людей, которых Гатенйельм приказывал бросать за борт с захваченных им судов. И теперь они подымались из своих сырых морских могил, чтобы подвергнуть пирата экзекуции и пытке. А рыбаки всячески остерегались заплывать в ту сторону. Но однажды темной ночью одного из них угораздило оказаться слишком близко от страшного места. Он почувствовал, что его вдруг затянуло в водоворот, в лицо ему хлестнула морская пена, и чей-то громовой голос воззвал к нему:

«Ступай в усадьбу Гата в Онсале и скажи жене моей: пусть пришлет мне семь охапок ореховых прутьев да две можжевеловые палицы!»

Пастор, молча и терпеливо слушавший рассказ собеседника, уловил теперь, что это – обычная история о привидениях, и с трудом удержался от нетерпеливого жеста. Однако ротмистр не обратил на это ни малейшего внимания.

– Вы понимаете, достопочтенный брат мой, что рыбаку ничего не оставалось, как повиноваться этому наказу. Послушалась его и она, жена Гатенйельма. Были собраны самые гибкие ореховые прутья и самые здоровенные можжевеловые палицы, и работник из Онсалы поплыл с ними в море.

Тут пастор сделал столь явную попытку прервать своего собеседника, что ротмистр наконец заметил его нетерпение.

– Знаю, о чем вы думаете, брат мой, – молвил он, – то же думал и я, услышав за обедом эту историю, но сейчас, во всяком случае, попрошу вас, достопочтенный брат мой, выслушать меня до конца. Итак, я хотел сказать, что этот работник из Онсалы, должно быть, был человек бесстрашный, да к тому же весьма преданный своему покойному хозяину. Иначе он вряд ли отважился бы выполнить такой наказ. Когда он подплыл ближе к месту погребения Гатенйельма, шхеру пирата захлестывали такие высокие волны, будто разыгралась страшная буря, а бряцание оружия и шум битвы слышны были далеко вокруг. Однако работник подошел на веслах как можно ближе, и ему удалось забросить на шхеру и можжевеловые палицы и охапки прутьев. Несколько быстрых ударов веслами – и он удалился от страшного места.

– Высокочтимый брат мой... – начал было пастор, но ротмистр был непоколебим.

– Однако дальше плыть он не стал, а перестал грести, решив поглядеть, не случится ли что-нибудь примечательное. И ждать ему понапрасну не пришлось. Ибо над шхерой вздыбилась вдруг до облаков морская пена, шум сменился страшным грохотом, точно на поле битвы, и ужасающие стоны разнеслись над морем. Так продолжалось некоторое время, но с убывающей силой, а под конец волны и вовсе прекратили брать штурмом Гатенйельмову могилу. Вскоре здесь стало так же тихо и спокойно, как и на всякой другой шхере. Работник поднял было весла, чтобы отправиться в обратный путь, но в тот же миг к нему воззвал громовой и торжествующий голос:

«Ступай в усадьбу Гата в Онсале, поклонись моей жене и передай: живой ли, мертвый ли, Лассе Гатенйельм всегда побеждает своих врагов!»

Опустив голову, пастор слушал рассказ. Теперь, когда история подошла к концу, он поднял голову и вопрошающе взглянул на ротмистра.

– Когда гувернер произнес эти последние слова, – продолжал ротмистр, – я заметил, что сыновья мои сочувствуют этому презренному негодяю Гатенйельму и что им по душе пришелся рассказ о его удали. Поэтому я и поспешил заметить – дескать, история эта придумана складно, но что все это вряд ли нечто большее, нежели обыкновеннейшая небылица. Ибо если, – сказал я, – такой грубый пират, как Гатенйельм, в силах был постоять за себя даже после смерти, то как же объяснить, что мой отец, столь же отчаянный рубака, как и Гатенйельм, но не в пример ему добрый и честный человек, допустил вора проникнуть в гробницу и похитить у него самое драгоценное его достояние? А у него не было силы воспрепятствовать этому или по крайней мере хоть потом нанести виновному афронт.

При этих словах пастор поднялся с не свойственным ему проворством.

– И я держусь того же мнения! – воскликнул он.

– Послушайте, однако, что случилось дальше, – продолжал ротмистр. – Не успел я выговорить эти слова, как за спинкой моего кресла послышались громкие вздохи. И вздохи эти столь походили на те, которые испускал, бывало, мой покойный отец, когда его терзали старческие немощи, что мне показалось, будто он стоит у меня за спиной. И я вскочил с места. Разумеется, никого и ничего я не увидел, но был убежден, что слышал моего отца. Мне не захотелось больше садиться за стол, и я просидел здесь все это время в одиночестве, размышляя об этом деле. И мне очень хотелось бы услышать, что думаете по этому поводу вы, мой достопочтенный брат. Те жалостные вздохи об исчезнувшем сокровище, которые я слышал... Был ли это мой покойный отец? Будь я уверен, что он все еще томится тоской по этому перстню! Да я лучше бы ходил по дворам, чиня дознание, нежели допустил, чтоб он хоть единый миг терзался жестокой скорбью, как о том свидетельствуют его жалобные вздохи.

– Второй раз приходится мне нынче отвечать на вопрос, скорбит ли еще покойный генерал о своем утраченном перстне и жаждет ли получить его обратно, – сказал пастор. – Но прежде чем ответить, я, с вашего позволения, высокочтимый брат мой, расскажу свою историю, а потом мы вместе потолкуем об этом.

Рассказав, что с ним произошло, пастор понял, что ему нечего было бояться, что ротмистр с недостаточным рвением станет блюсти интересы своего отца. Пастор не подумал о том, что в характере даже самого миролюбиво настроенного человека есть нечто от сыновей Лодброка^[19]. Ведь нередко бывает и так: поросята начинают визжать, узнав, какие муки вытерпел старый боров. И пастор увидел, как на лбу у ротмистра вздулись жилы, а кулаки так сильно сжались, что даже побелели в суставах. Неистовый гнев овладел ротмистром.

Естественно, пастор представил все это дело по-своему. Он рассказал, как гнев Божий покарал злодеев, но никоим образом не пожелал признать, что тут, должно быть, замешан мертвец.

Ротмистр же истолковал все это совсем по-иному. Он вывел отсюда, что отец его не обрел вечного покоя в могиле, ибо перстень с его указательного пальца был снят. Ротмистра терзали страх и угрызения совести, поскольку до сих пор он слишком беззаботно относился к этому делу. Казалось, в сердце у него ныла рана.

Пастор, заметив, как взволновался ротмистр, от страха еле решился рассказать ему, что перстень у него отняли снова. Но это было воспринято с каким-то мрачным удовлетворением.

– Хорошо, что хоть один из этого воровского сброда уцелел и что он такой же мерзавец, как и другие, – сказал ротмистр Лёвеншёльд. – Генерал расправился с родителями Ингильберта, и расправился сурово. Теперь настал мой черед!

Пастор уловил жестокую решимость в голосе ротмистра. Он волновался все сильнее и сильнее. Он начал опасаться, как бы ротмистр не душил Ингильберта собственными руками или не засек бы его до смерти.

– Я счел своим долгом быть посланцем от покойного Борда к вам, брат Лёвеншёльд, – сказал пастор, – но я надеюсь, что вы не предпримете никаких опрометчивых действий. Я же намерен теперь уведомить ленсмана о том, что меня обокрали.

– Вы, брат мой, вольны поступать, как вам заблагорассудится, – заметил ротмистр. – Я хотел только сказать, что все это – лишь напрасные хлопоты, поскольку дело я беру на себя.

Пастор убедился, что в Хедебю он больше ничего не добьется. Он поспешил уехать из усадьбы, чтобы успеть засветло известить обо всем ленсмана.

А ротмистр Лёвеншёльд созвал всех своих челядинцев, рассказал, что приключилось, и спросил, хотят ли они завтра поутру отправиться вместе с ним в погоню за воров. Никто

не отказался от такой услуги своему хозяину и покойному генералу. Конец вечера ушел на поиски всевозможного оружия – старинных мушкетов, коротких медвежьих рогатин, длинных шпаг, а также палиц и кос.

VI

Не менее пятнадцати человек сопровождали ротмистра, когда на другой день в четыре часа утра он вышел из дому охотиться на вора. И все они были в самом воинственном расположении духа. Правда была на их стороне, да к тому же они уповали на генерала. Раз уж покойник вмешался в это дело, так наверняка доведет его до конца.

Однако подходящая для облавы дикая чаща начиналась лишь за милю от Хедебю. В начале пути ротмистру с челядинцами пришлось пересечь логовину: кое-где она была возделана и усеяна мелкими постройками. То тут, то там на холмах виднелись довольно большие деревни. Одна из них и была Ольсбю, где прежде находилась усадьба Борда Бордссона – пока ее не сжег генерал.

За всем этим, словно разостланная по земле толстая звериная шкура, тянулся дремучий бор, одно дерево к другому. Но даже и здесь не кончалась власть человека: в лесу виднелись узкие тропки, которые вели к летним сэттерам и угольным ямам.

Когда ротмистр с челядинцами вошел в дремучий лес, всех их словно подменили: они обрели совсем иной вид, иную осанку. Им и прежде случалось приходить сюда на охоту за крупной дичью, и их обуял охотничий пыл. Зорко всматриваясь в густой кустарник, они и передвигаться стали совсем по-иному – легко ступая и будто крадучись.

– Давайте уговоримся наперед, ребята, – сказал ротмистр. – Никто из вас не должен накликать на себя беду из-за этого вора, и потому предоставьте его мне. Смотрите только, чтобы его не упустить!

Но челядинцы и не думали повиноваться этому приказу. Все те, кто еще накануне мирно расхаживал, развешивая сено на сушилах, горели теперь желанием как следует проучить этого ворюгу Ингильберта.

Едва они углубились в лес, как вековые сосны, стоявшие здесь со стародавних времен, стали такими частыми, что простерли над ними сплошной свод; подлесок кончился, и лишь мхи покрывали землю. И тут они увидели, что навстречу им идут трое с носилками из ветвей, на которых покоится четвертый.

Ротмистр со своим дозором поспешил им навстречу, но, увидев столько народу, носильщики остановились. Лицо человека, лежавшего на носилках, было прикрыто огромными листьями папоротника, так что нельзя было разглядеть, кто это. Но жители Хедебю, казалось, все же узнали его, и мороз пробежал у них по коже.

Им не привиделся рядом с носилками старый генерал. Вовсе нет. Им не привиделась даже его тень. Но все равно, они знали: он – здесь. Он вышел из лесу вместе с мертвецом. Он стоял, указывая на него пальцем.

Трое, что несли носилки, были люди хорошо известные в округе и почтенные. То был Эрик Иварссон, хозяин большого хутора в Ольсбю, и его брат Ивар Иварссон, который так никогда и не женился и остался доживать у брата на отцовском хуторе. Оба они были уже в летах; зато третий в их компании был человек молодой. Он тоже был всем известен. Звали его Пауль Элиассон, и был он приемный брат Иварссонов.

Ротмистр подошел прямо к Иварссонам, а те опустили на землю носилки, чтобы поздороваться с ним за руку. Но ротмистр, казалось, не видел протянутых ему рук. Он не мог оторвать глаз от листьев папоротника, прикрывавших лицо того, кто лежал на носилках.

– Кто это тут лежит? Уж не Ингильберт ли Бордссон? – спросил он каким-то удивительно суровым голосом. Казалось, будто он говорит против своей воли.

– Он самый, – ответил Эрик Иварссон. – Но откуда вы это знаете, господин ротмистр? По платью признали?

– Нет, – ответил ротмистр, – я признал его не по платью. Я не видал его целых пять лет.

И его собственная челядь и прищельцы удивленно глядели на ротмистра. Им всем подумалось, что нынче утром в нем появилось нечто непохожее на него, нечто зловещее. Он не был самим собой. Он уже не был учтив и обходителен, как прежде.

Ротмистр принялся расспрашивать крестьян, что они делали в лесу в такую рань и где нашли Ингильберта. Иварссоны были крестьяне зажиточные, и им было не по душе, что у них так это выпытывают, но самое главное ротмистру все же удалось выведать.

За день до этого с мукой и съестным для работников они поднялись на свой сэттер, расположенный в нескольких милях отсюда, в глубине леса, да там и заночевали. Рано поутру пустились они в обратный путь, и Ивар Иварссон вскоре обогнал своих спутников. Ведь Ивар Иварссон был солдат, мастер шагать, и нелегко было поспевать за ним.

Намного опередив своих спутников, Ивар Иварссон вдруг увидел, что навстречу ему по тропинке идет какой-то человек. А лес там был довольно редкий. Никаких кустарников, одни лишь могучие стволы, и Ивар уже издали увидал этого человека. Но признать сразу – не признал. Меж деревьями колыхались клочья тумана, и когда их озаряли солнечные лучи, они превращались в золотистую дымку. Кое-что можно было разглядеть сквозь это туманное марево, но не очень отчетливо.

Ивар Иварссон заметил, что как только встречный завидел его в тумане, он тотчас же остановился и в величайшем ужасе, словно защищаясь, простер перед собой руки. Когда же Ивар сделал еще несколько шагов вперед, тот упал на колени и закричал, чтобы Ивар не смел приближаться к нему. Казалось, что человек этот не в своем уме. Ивар Иварссон хотел было поспешить к нему, чтобы успокоить, однако тот уже вскочил на ноги и бросился бежать в глубь леса. Но пробежал он всего лишь несколько шагов. Почти в тот же миг он рухнул на землю и остался лежать недвижим. Когда Ивар Иварссон подошел к нему, он был мертв.

Теперь Ивар Иварссон тут же признал этого человека: то был не кто иной, как Ингильберт Бордссон, сын того самого Борда, который прежде жил в Ольсбю, но потом, когда двор его сгорел, а жена утопилась, перебрался на летний сэттер. Ивар никак не мог понять, отчего Ингильберт упал и умер: ведь ничья рука не коснулась его. Он пытался вернуть его к жизни, но это не удалось. Когда подоспели другие, они тоже увидели, что Ингильберт мертв. Но Бордссоны были когда-то соседями Иварссонов в Ольсбю, и им не захотелось оставлять Ингильберта в лесу; и вот они сделали носилки и унесли его с собой.

Ротмистр с мрачным видом слушал этот рассказ. Он показался ему вполне правдоподобным. Ингильберт лежал на носилках, словно снаряженный в дальнюю дорогу: за спиною – котомка, а на ногах – башмаки. Медвежья рогатина, лежавшая рядом, пожалуй, тоже принадлежала ему. Не иначе как Ингильберт хотел отправиться на чужбину, чтобы продать там перстень; но когда в лесном тумане ему повстречался Ивар Иварссон, ему почудилось, что он увидел призрак генерала. Ну, конечно! Так оно и было! Ивар Иварссон был одет в старый солдатский мундир, а поля его шляпы были загнуты на каролинский манер^[20]. То, что Ингильберт обознался, легко объяснялось дальностью, туманом и тем, что совесть его была нечиста.

Тем не менее ротмистр все еще был недоволен. Он распал в себе гнев и жажду крови. Ему хотелось бы задушить Ингильберта своими руками. Ему нужно было дать выход своей жажде мести, а выхода не было.

Однако мало-помалу ротмистр понял, как он несправедлив, и настолько совладал с собой, что даже рассказал Иварссонам, для чего он с челядинцами вышел нынче поутру в лес. И добавил, что хочет дознаться, при мертвецe ли еще перстень.

Ротмистру даже хотелось бы, чтобы крестьяне из Ольсбю ответили бы «нет»; тогда он мог бы с оружием в руках постоять за свои права. Но они сочли его требование вполне естественным и чуть отошли в сторону, покуда несколько челядинцев обыскивали карманы мертвеца, его башмаки, котомку, каждый шов его одежды.

Вначале ротмистр с величайшим вниманием следил за обыском, но вдруг он нечаянно взглянул на крестьян, и ему показалось, будто те обменялись насмешливыми взглядами, словно были уверены, что он все равно ничего не найдет.

Так оно и вышло. Поиски пришлось прекратить, а перстень так и не отыскался. Тогда подозрения ротмистра вполне справедливо пали на крестьян. То же самое подумали и челядинцы. Куда девался перстень? Когда Ингильберт решил бежать, он наверняка взял его с собой. Где же он?

Хотя и теперь никто из них не видел генерала, но все ощущали его незримое присутствие. Стоя в толпе, он указывал на всю троицу из Ольсбю. Перстень у них!

Верно это они обшарили карманы мертвеца и нашли перстень.

Скорее всего история, которую они только что сочинили, – небылица, а на самом деле все произошло совершенно иначе. Может статься, Иварссоны, которые были односельчанами Бордссонов, знали, что те завладели королевским перстнем. Может статься, они узнали, что Борд умер, а повстречавшись с его сыном в лесу, тотчас смекнули, что он собрался бежать с этим перстнем; вот они и напали на Ингильберта и убили его, чтобы присвоить перстень.

На теле Ингильберта не было никаких следов увечья, кроме кровоподтека на лбу. Иварссоны сказали, что он ударился головой о камень, когда падал. Но разве этот кровавый желвак не мог быть нанесен толстой суковатой палицей, которую держал в руках Пауль Элиассон?

Ротмистр стоял, опустив глаза. Он мучительно боролся с самим собой. Никогда не слышал он об этих троих ничего, кроме хорошего, и ему никак не думалось, что они убийцы и воры.

Челядинцы окружили ротмистра. Кое-кто из них уже бряцал оружием, и все до единого считали, что без драки им отсюда не уйти.

Тогда к ротмистру подошел Эрик Иварссон.

– Мы, братья, – молвил он, – да и приемьш наш Пауль Элиассон, который вскоре станет мне зятем, понимаем, что думаете про нас вы, господин ротмистр, и ваши люди. Так вот, по-нашему, не след нам расходиться, покуда вы не прикажете обыскать наши карманы и одежду.

От такого предложения у помрачневшего было ротмистра стало полегче на сердце. Он начал отговариваться. Иварссоны, да и их приемный сын такие люди, что на них и тень подозрения пасть не может.

Но крестьяне хотели покончить с этим делом. Они сами принялись выворачивать свои карманы и разувать башмаки. Тогда ротмистр махнул рукой челядинцам, чтобы те исполнили их волю и обыскали их.

Перстень так и не обнаружился, но в берестяном коробе, который Ивар Иварссон носил за спиной, нашли сафьяновый мешочек.

– Это ваш мешочек? – спросил ротмистр, после того как, порывшись в мешочке, увидел, что он пуст.

Ответь Ивар Иварссон – да и делу, может статься, был бы конец, но вместо этого он спокойно признался:

– Нет, не наш; он валялся на тропке, неподалеку от того места, где упал Ингильберт. Я поднял мешочек и бросил его в короб, он показался мне новехоньким.

– Но в таком вот мешочке и лежал перстень, когда пастор швырнул его Ингильберту, – сказал ротмистр; и лицо его и голос снова омрачились. – Теперь же вам, Иварссонам, ничего

не остается, как отправиться со мной к ленсману, если вы не предпочитаете добровольно вернуть мне перстень.

Терпение крестьян из Ольсбю лопнуло.

– Нет у вас, господин ротмистр, таких прав, чтобы заставить нас идти в темницу, – молвил Эрик Иварссон.

Он схватился за рогатину, лежавшую рядом с Ингильбертом, чтобы проложить себе путь, а брат его с будущим зятем присоединились к нему.

В первый миг остолбеневшие жители Хедебю подались было назад, чуть не оттолкнув ротмистра, который засмеялся от радости, что наконец-то даст долгожданный выход своему гневу, употребив силу. Выхватив саблю, он рубанул по рогатине.

Но то был единственный ратный подвиг, совершенный в этой войне. Челядинцы оттащили его и вырвали у него саблю из рук.

Случилось так, что и ленсман Карелиус вздумал отправиться в то утро в лес. В ту самую минуту он в сопровождении стражника показался на тропинке. Снова начались поиски и снова дознание, но дело все же кончилось тем, что Эрик Иварссон, его брат Ивар и их приемный сын Пауль Элиассон были взяты под стражу и отведены в темницу по подозрению в убийстве и разбое.

VII

Нельзя не признать, что леса у нас в Вермланде были в ту пору обширны, а пашни малы, дворы велики, зато дома тесны, дороги узки, зато холмы круты, двери низки, зато пороги высоки, церкви неприглядны, зато службы долги, дни жизни коротки, зато горести бесчисленны. Но из-за этого вермландцы вовсе не вешали голову и никогда не плакались.

Бывало, мороз бил посевы, бывало, хищные звери губили стада, а кровавый понос – детей: вермландцы все равно почти всегда сохраняли бодрость духа. А иначе что бы с ними случилось?

Но, быть может, причиной тому было утешение, обитавшее в каждой усадьбе. Утешение, которое служило как богатым, так и бедным, утешение, которое никогда не изменяло людям и никогда не знало усталости.

Но не думайте, право, что утешение это было нечто возвышенное или нечто торжественное, вроде слова Божьего, чистой совести или счастья любви! И уж вовсе не думайте, что было оно нечто низменное или опасное, вроде бражничанья или игры в кости! А было оно нечто совсем невинное и будничное: то было не что иное, как пламя, неустанно плававшее в очаге зимними вечерами.

Господи боже, какую красоту и уют наводил огонь в самой жалкой лачуге! А как шутил он там со всеми домочадцами вечера напролет! Он трещал и искрился, и тогда казалось, будто он потешается над ними. Он плевался и шипел, и казалось, будто он передразнивает кого-то брюзгливого и злого. Подчас он никак не мог сладить с каким-нибудь суковатым поленом. Тогда в горнице становилось дымно и угарно, словно огонь хотел втолковать людям, что его кормят слишком скудно. Подчас он ухитрялся обернуться раскаленной грудой угля, как раз когда в доме кипела работа, так что оставалось только сложить руки на коленях да громко смеяться, покуда он не вспыхнет вновь. Но пуще всего огонь проказничал, когда хозяйка приходила с треногим чугуном и требовала, чтобы он поварничал. Изредка огонь бывал послушен и услужлив и дело свое справлял быстро и умело. Но нередко он часами легко и игриво плясал вокруг котла с кашей, не давая ей закипеть.

Зато как весело, бывало, блестели глаза хозяина, когда, насквозь вымокший и замерзший, он возвращался в ненастье домой, а огонь встречал его теплом и уютом! Зато как чудесно бывало думать об огне, который бодрствует, излучая яркий свет в темную зимнюю

ночь, словно путеводная звезда бедного странника и словно грозное предостережение рыси и волку!

Но огонь в очаге умел не только согревать, светить и поварничать. Он способен был не только сверкать, трещать, дымить и чадить. В его власти было пробудить в человеческой душе желание резвиться.

Ибо что такое человеческая душа, как не резвящаяся пламя? Да, да, она и есть огонь! Она вспыхивает в самом человеке, охватывает его и кружится над ним, точь-в-точь как огонь вспыхивает в сырых поленьях, охватывает их и кружится над ними. Когда те, кто собирався зимними вечерами вокруг полыхающего огня, молча сидели часок-другой, глядя в очаг, огонь заговаривал с каждым из них на своем собственном языке.

– Сестрица Душа, – говорило пламя, – разве ты не такое же пламя, как я? Почему же ты так мрачна, так удручена?

– Братец Огонь, – отвечала человеческая душа, – я колола дрова и хозяйничала целый день. У меня только и осталось сил, что молча сидеть да глядеть на тебя.

– Знаю, – говорил огонь, – но настал вечерний час. Делай как я! Пылай и свети! Резвись и согревай!

И души слушались огня и начинали резвиться. Они сказывали сказки, загадывали загадки, пилюкали на скрипке, вырезали завитки и розочки на домашней утвари и земледельческих орудиях. Они играли в разные игры и пели песни, они выкупали фанты и вспоминали старинные поговорки. И мало-помалу оледенелое тело оттаивало, оттаивало и угрюмое сердце. Люди оживали и веселели. Огонь и игры у очага давали им силы вновь жить их бедной и трудной жизнью.

Но вот без чего не обходилось веселье у очага, так это уж без рассказов о всякого рода геройских подвигах и приключениях! Рассказами этими тешился стар и млад, рассказам этим никогда не бывало конца. Ведь в подвигах и приключениях в этом мире, слава богу, никогда недостатка не было.

Но никогда не бывало их в таком изобилии, как во времена короля Карла. Он был всем героям герой, и рассказов о нем и его воинах была уйма! Историям этим не пришел конец вместе с ним и с его властью, они продолжали жить и после его смерти, они были лучшим его наследием.

Ни о ком не любили так рассказывать, как о самом короле; ну а после него любили еще потолковать о старом генерале из Хедебю. Его знали в лицо, с ним не раз говорили и могли описать его с головы до ног.

Генерал был такой сильный, что сгибал подковы, как другие сгибали обыкновенные стружки. Однажды он узнал, что в Смедсбю в долине Свартшё живет кузнец, который лучше всех в округе кует подковы. Генерал поехал к нему в долину и попросил Миккеля из Смедсбю подковать ему коня. А когда кузнец вынес из кузни готовую подкову, генерал спросил, нельзя ли сперва взглянуть на нее. Подкова была крепкая и сделана на совесть, но, разглядев ее, генерал расхохотался.

– Это, по-твоему, подкова? – спросил он и, согнув ее, переломил надвое.

Кузнец испугался, решив, что сделал плохо работу.

– В подкове, верно, была трещина, – сказал он и поспешил назад в кузню за другой подковой.

Но и с ней вышло как с первой, с той только разницей, что ее сжали, будто клещами, пока и она не переломилась пополам; ей-ей, так оно и было. Но тут Миккель заподозрил неладное.

– Уж не сам ли ты король Карл, а может, Бенгт из Хедебю? – сказал он генералу.

– Молодец, Миккель, ловко отгадал, – похвалил кузнеца генерал и тут же заплатил Миккелю сполна и за четыре новых подковы, и за те две, что сломал.

Немало и других рассказов ходило про генерала, их рассказывали без конца, и во всем уезде не нашлось бы человека, который не знал бы о старом Лёвеншёльде, не почитал его и не благоговел бы перед ним. Известно было и про генеральский перстень, и все знали про то, как вместе с генералом его положили в могилу; но человеческая алчность была так велика, что перстень у генерала украли.

Теперь вы можете представить себе! Уж если что и могло пробудить в людях интерес, любопытство и волнение, так это весть о том, что перстень обнаружен и утерян вновь, что Ингильберта нашли в лесу мертвым, а на крестьян из Ольсбю пало подозрение в краже перстня и они сидели под стражей.

Когда прихожане возвращались в воскресенье после полудня из церкви домой, там едва могли дожидаться, когда они снимут с себя праздничное платье и немного поедят; им приходилось немедля выкладывать все, что показали на суде свидетели, и все, в чем сознались обвиняемые, а также каков, по мнению людей, будет приговор.

Ни о чем другом и речи не было. Всякий вечер в больших домах и малых лачугах, как у торпарей^[21], так и у богатых крестьян, у очага вершили суд.

Ужасное то было дело, да и диковинное, потому и мудрено было разобраться в нем по справедливости. Нелегко было вынести окончательное решение, ибо трудно, да и почти невозможно было поверить, что Иварссоны и их приемный сын якобы убили человека из-за перстня, как бы драгоценен он ни был.

Взять хотя бы Эрика Иварссона. Был он человек богатый, владевший обширными угодьями и множеством домов. Ежели и водился за ним какой грех, так только тот, что был он горд и чрезмерно пекся о своей чести. Но потому и трудно было понять, что какое-нибудь сокровище в мире могло заставить его совершить бесчестный поступок.

Еще менее можно было заподозрить его брата Ивара. Верно, он был беден, зато жил у своего брата на хлебах, получая от него чего только пожелает. Он был так добросердечен и раздавал все, что у него было! Неужто такому человеку могло взбрести на ум пойти на убийство и разбой?

Что касается Пауля Элиассона, то о нем было известно, что он в большой милости у Иварссонов и должен жениться на Марит Эрикسدоттер, единственной отцовской наследнице. Впрочем, он-то был из тех, кого можно было заподозрить скорее всего: ведь он по рождению иноземец, а об иноземцах известно, что кражу они не считают за грех. Ивар Иварссон привел Пауля с собой, когда вернулся домой из плена. Мальчик был сиротой трех лет от роду и, если бы не Ивар, умер бы с голоду в родной стране. Правда, воспитали его Иварссоны в правилах честности и справедливости, да и вел он себя всегда как подобало. Вырос он вместе с Марит Эрикسدоттер, они полюбили друг друга, и как-то не верилось, что человек, которого ожидают счастье и богатство, вдруг возьмет да и поставит все это на карту, похитив перстень.

Но, с другой стороны, не следовало забывать и генерала, о котором люди сызмальства слышали столько разных легенд и историй, генерала, которого знали, пожалуй, не хуже родного отца, генерала, который был высок ростом, могуч и достоин доверия. А теперь он умер, и у него похитили самое дорогое из его имущества.

Генерал знал, что когда Ингильберт Бордссон бежал из дому, перстень был при нем, а не то Ингильберт спокойно отправился бы своей дорогой и не был бы мертв. Генералу, видно, было также известно, что крестьяне из Ольсбю украли перстень, иначе бы им никак не повстречался по дороге ротмистр, их не взяли бы под стражу и не держали бы под арестом.

Да, мудрено было разобраться по справедливости в таком деле, но на генерала уповали даже больше, чем на самого короля Карла. И почти на всех судебных разбирательствах, которые велись в бедных лачугах, был вынесен обвинительный приговор.

Большое удивление, конечно, вызвало то, что уездный суд, заседавший в судебной палате на холме в Брубю, учинив обвиняемым строжайшее дознание, но так и не изблотив их и не склонив к признанию вины, вынужден был оправдать крестьян, обвиняемых в убийстве и разбое.

Однако на волю их не выпустили, ибо приговор уездного суда должен был еще утвердить коронный суд, а коронный суд счел крестьян из Ольсбю виновными и приговорил их к повешению.

Но и этот приговор не был приведен в исполнение, поскольку ему надлежало сперва быть утвержденным самим королем.

После того как был вынесен и оглашен королевский приговор, прихожане, вернувшись из церкви, отложили свой обед; им не терпелось рассказать тем, кто оставался дома, что гласил приговор.

А он гласил: вполне очевидно, что кто-то из обвиняемых – убийца и вор, но поскольку ни один из них не признал себя виновным, то пусть их рассудит Божий суд.

На ближайшем тинге^[22] им надлежит в присутствии судьи, заседателей и всех прихожан сыграть друг с другом в кости. Того, кто выкинет меньше всего очков, следует признать виновным и покарать за содеянное преступление, подвергнув смертной казни через повешение, а двух других немедленно освободить, дабы они вернулись к своей обычной жизни.

Мудрый был тот приговор, справедливый. Все жители долин Вермланда были им довольны. Разве не прекрасно со стороны старого короля, что в этом темном деле он не возомнил, будто видит яснее, нежели другие, а воззвал к Всеведущему? Теперь-то уж наконец можно поверить в то, что правда выйдет наружу.

К тому же в этом судебном деле было нечто совершенно особое. Оно велось не человеком против человека; истцом в этой тяжбе был покойник – покойник, требовавший вернуть ему его достояние. В любых других случаях можно было еще колебаться, стоит ли прибегать к игральным костям, но только не в этом. Уж покойный-то генерал наверняка знал, кто утаил его добро. Вот и в королевском приговоре самым большим достоинством было то, что он давал старому генералу возможность казнить или миловать.

Могло даже показаться, будто король Фредрик^[23] хотел предоставить окончательное решение генералу. Может статься, он знал его в старые военные годы и ему было известно, что на этого человека можно положиться. Вполне вероятно, что как раз это и имелось в виду. А так или не так, сказать трудно!

Как бы там ни было, все во что бы то ни стало хотели присутствовать на тинге в тот день, когда будет оглашен Божий приговор. Каждый, кто не был слишком стар, чтобы идти, либо слишком мал, чтобы ползти, отправился в путь. Столь знаменательного события, как это, не случалось уже много лет. Тут нельзя было довольствоваться тем, чтобы потом, да еще от других, услышать, как все кончилось. Нет, тут непременно надо было присутствовать самому.

Верно, что усадьбы были прежде рассеяны по всей округе, верно и то, что тогда, бывало, целую милю проедешь, да так и не встретишь ни души. Но когда люди со всего уезда сошлись на одной и той же площади, все так и ахнули – сколько их тут! Тесно прижатые друг к другу, несчетными рядами стояли они перед судебной палатой. Казалось, будто пчелиный рой, черный и отяжелевший, нависает перед ульем в летний день. Люди напоминали роящихся пчел еще и тем, что были не в своем обычном расположении духа. Они не были безмолвны и торжественны, как всегда бывали в церкви; не были они веселы и добродушны, как всегда на ярмарках: они были свирепы и раздражительны, были одержимы ненавистью и жаждой мести.

Что ж тут мудреного? С молоком матери впитали они ужас перед лиходеями. Их ублаживали колыбельными песнями о бродягах, объявленных вне закона. В их представлении

все воры и убийцы были выродками, чертовым отродьем, они их и за людей-то не считали. Мысль о милосердии к таким нелюдям им и в голову не приходила. Они знали, что такой вот страшной и подлой твари ныне будет вынесен приговор, и радовались этому. «Слава тебе господи, теперь-то уж этому кровожадному дьяволу придет конец, – думали они. – Теперь-то уж по крайней мере ему не удастся больше вредить нам».

Хорошо, что Божий суд должен был отправляться не в судебной палате, а на воле. Но плохо, конечно, что рота солдат частоколом стала на площади перед судебной палатой и близко подойти было нельзя; люди же без конца поносили грубой бранью солдат за то, что те преграждали им путь. Прежде никто бы себе этого не позволил, но ныне все были дерзостны и наглы.

Ведь людям пришлось заблаговременно, с самого раннего утра выйти из дому, чтобы занять место поближе к частоколу из солдат, и на их долю выпало много долгих часов томительного ожидания. А за все это время развлечься было нечем. Разве что из судебной палаты вышел судебный пристав и поставил посреди площади огромный барабан. Все-таки стало повеселее, ибо люди увидели, что судейские там, в палате, намереваются дать делу ход еще до вечера. Судебный пристав вынес также стол со стулом да еще перо с чернильницей для писаря. Под конец он появился, держа в руках небольшой кубок, в котором звонко перекачывались игральные кости. Пристав несколько раз выкинул их на барабанную шкуру. Видно, хотел убедиться в том, что они не фальшивые и падают то так, то этак, как игральным костям и положено.

Затем он быстро ушел назад в палату, и ничего удивительного в том тоже не было: ведь стоило ему только показаться на крыльце, как люди тотчас же начинали осыпать его бранью и насмешками. Прежде никто бы себе этого не позволил, но в тот день толпа просто обезумела.

Судью с заседателями пропустили сквозь заслон, и к судебной палате одни из них прошеествовали пешком, другие же подъехали верхом. Лишь только появлялся кто-нибудь из них, как толпа сразу оживлялась. Но опять-таки никто не шептался и не шушукался, как бывало прежде. Вовсе нет! И лестные и поносные слова выкрикивались во весь голос. И ничем нельзя было этому помешать. Ожидавших тинга было немало, и не такие они были, чтобы с ними шутить. Важных господ, которые прибыли на тинг, тоже впустили в судебную палату. Были там и Лёвеншёльд из Хедебю, и пастор из Бру, и заводчик из Экебю, и капитан из Хельгесэттера, и многие, многие другие. И пока они проходили, всем им пришлось выслушать множество замечаний вроде того, что есть, мол, счастливики, которым не приходится стоять сзади и драться за место поближе, да и еще много всякого другого.

Когда уже больше некого было поносить, толпа стала осыпать колкими насмешками молодую девушку, которая изо всех сил старалась держаться как можно ближе к частоколу из солдат. Она была маленькая и хрупкая, и мужчины – то один, то другой – не раз пытались пробиться сквозь толпу и захватить ее место; но всякий раз кто-либо из стоявших поблизости кричал, что она дочка Эрика Иварссона из Ольсбю, и после подобного вразумления девушку больше не пытались согнать с места.

Но зато на нее градом сыпались насмешки. Девушку спрашивали, кого ей больше хочется видеть на виселице – отца или жениха. И удивлялись: с какой это стати дочка вора должна занимать лучшее место.

Те же, что пришли из дальних лесов, только диву давались, как у нее хватает духу оставаться на площади. Но им тут же рассказали про нее и немало других диковинных вещей. Она была не робкого десятка, эта девчонка, она присутствовала на всех судебных разбирательствах, она не проронила ни единой слезинки и все время сохраняла спокойствие. То и дело кивала она головой обвиняемым и улыбалась им так, словно была уверена в том, что на другой день их освободят. И когда обвиняемые видели ее, они снова обретали мужество.

Они думали про себя, что есть на свете хоть один человек, который уверен в их невиновности. Хоть один, кто не верит в то, что какой-то жалкий золотой перстень мог соблазнить их и толкнуть на преступление.

Красивая, кроткая и терпеливая, сидела она в судебной зале. Ни разу не вызвала она ни у кого гнева. Отнюдь, даже судью с заседателями, да и ленсмана она расположила в свою пользу. Сами бы они, положим, в этом не признались, но ходила молва, будто уездный суд ни за что не оправдал бы обвиняемых, не будь там ее. Невозможно было поверить, что кто либо из тех, кого любит Марит Эрикسدоттер, может быть повинен в лиходействе.

И вот теперь она снова была здесь, чтобы арестанты могли видеть ее. Она стояла здесь, чтобы быть им опорой и утешением. Она хотела молиться за них в час их тяжкого испытания, хотела вверить их души милости Божьей.

Как знать! Говорят же в народе, что яблоко от яблони недалеко падает. Но ничего не скажешь, с виду она была добра и невинна. Да и сердце было у нее любящее, раз она могла оставаться здесь на площади.

Ведь она, наверно, слышала все, что ей кричали, но не отвечала, и не плакала, и не пыталась спастись бегством. Она знала, что несчастные узники будут рады видеть ее. Ведь во всей огромной толпе она была одна-единственная, кто всем сердцем по-человечески сочувствовал им.

Но что ни говори, а стояла она тут вовсе не зря. Нашлись в толпе один-два человека, у которых были свои дочери, такие же тихие, милосердные и невинные, как Марит. И в глубине души эти люди чувствовали, что им не хотелось бы видеть своих дочерей на ее месте.

Послышались в толпе и один-два голоса, которые защищали ее или пытались хотя бы унять разошедшихся острословов и горланов.

Не только потому, что настал конец томительному ожиданию, но и из сочувствия к Марит Эрикسدоттер все обрадовались, когда двери судебной палаты распахнулись и суд начался. Сперва торжественно прошествовали судебный пристав, ленсман и арестанты, с которых сняли кандалы, хотя каждого из них стерегли два солдата. Затем появились пономарь, пастор, заседатели, писец и судья. Замыкали шествие важные господа и несколько крестьян, которые были в такой чести, что и им дозволили находиться за оцеплением.

Ленсман с арестантами стали по левую сторону судебной палаты, судья с заседателями свернули направо, а господа разместились посредине. Писец со своими бумагами занял место за столом. Большой барабан по-прежнему стоял посреди площади у всех на виду.

Лишь только показалось шествие, в толпе началась толкотня и давка. Немало рослых и дюжих мужчин так и норовили протиснуться в первый ряд, метя прежде всего согнать с места Марит Эрикسدоттер. Но боясь, как бы ее не отгеснили, она, маленькая и тоненькая, нагнувшись, проскользнула мимо солдат и оказалась по другую сторону частокола.

Это было противно всем правилам порядка, и ленсман дал знак судебному приставу убрать Марит Эрикسدоттер. Пристав тотчас же подошел к ней, положил руку ей на плечо, будто намереваясь ее арестовать, и повел к судебной палате. Но как только они смешались с толпой стоявших там людей, он отпустил ее. Пристав уже посмотрелся на девушку и знал – лишь бы ей дозволили стоять поблизости от арестантов, а она даже не попытается бежать. Если же ленсман захочет ее проучить, найти Марит будет легко.

Впрочем, разве было теперь у кого-нибудь время думать о Марит Эрикسدоттер? Пастор с пономарем вышли вперед и встали посреди площади. Оба сняли шляпы, а пономарь затянул псалом. И когда те, кто стоял перед цепью солдат, услышали это пение, они начали понимать, что сейчас свершится нечто великое и торжественное, самое торжественное из всего, чему им когда-либо приходилось быть свидетелями на своем веку: призыв к всемогущему, всеведущему божеству, дабы узнать его волю.

Когда же заговорил пастор, люди преисполнились еще большим благоговением. Он молил Христа, Сына Божьего, который некогда сам предстал пред судилищем Пилата, смиловаться над этими обвиняемыми, дабы не претерпели они суда несправедного. Он молил его также смиловаться над судьями, дабы не были они вынуждены приговорить к смерти невинного.

Под конец он молил его смиловаться над прихожанами, дабы не пришлось им быть свидетелями великой несправедливости, как некогда евреям у Голгофы.

Все слушали пастора, обнажив головы, они не думали больше о своих жалких мирских делах. Они были настроены совсем иначе. Им чудилось, будто пастор призывает на землю самого Господа Бога, они ощущали его незримое присутствие.

Стоял прекрасный осенний день: синее небо, усеянное белыми тучками, деревья с зеленой, чуть тронутой желтизной листвой. Над головами людей непрерывно проносились к югу стаи перелетных птиц. Непривычно было видеть такую уйму птиц сразу в один день. Людям казалось, что это, должно быть, неспроста. Не было ли то знамением, что Господь одобряет помыслы человеческие?

Когда пастор замолк, выступил вперед председатель уездного суда и огласил королевский приговор. Приговор был пространный, со множеством замысловатых оборотов речи, которые с трудом доходили до собравшихся. Но они поняли, что светская власть как бы сложила скипетр свой и меч, отрелась от мудрости своей и знания и уповала в своих надеждах всецело на волю Божью. И они стали молиться, молиться все как один, чтобы Господь помог им и вразумил их.

Затем ленсман взял в руки игральные кости и попросил судью и кое-кого из присутствующих бросить эти кости, чтобы проверить, не фальшивые ли они. С каким-то странным трепетом прислушивался народ к стуку игральные костей, ударявшихся о барабанную шкуру. Эти кубики, сгубившие столько людей, неужто теперь их сочли достойными возвещать волю Божью?!

Как только кости были испробованы, арестантов вывели вперед. Сперва кубок передали Эрику Иварссону, самому старшему из всех. Но ленсман тут же объяснил ему, что сейчас решение будет еще не окончательным. Сейчас им нужно бросить жребий лишь для того, чтобы каждому определить свой черед играть.

В первый раз Паулю Элиассону выпало меньше всего, а Ивару Иварссону больше всего очков. Стало быть, ему первому и надо было начинать.

Трое обвиняемых были одеты в ту же самую одежду, что была на них, когда они, спускаясь с гор, со своего летнего сэттера, повстречали ротмистра. Теперь эта одежда была в грязи и вся драная. Такой же изношенный вид, как у кафтанов, был и у их хозяев. Однако всем показалось, будто Ивар Иварссон держался из троих вроде бы лучше всех. Верно, потому, что он был солдат, закаленный бесчисленными муками боев и плена. Держался он все еще прямо, и вид у него был мужественный и бесстрашный.

Когда Ивар вышел вперед к барабану и принял кубок с костями из рук ленсмана, тот хотел было показать ему, как следует держать кубок и как играть в кости. На губах старика проскользнула усмешка.

– Не впервой играть мне в кости, ленсман, – сказал он таким громким голосом, что все услышали. – Бенгт-силач из Хедебю да я не раз, бывало, баловались вечером этой игрой там, в степных краях. Но не чаял я, что мне доведется сыграть с ним еще раз.

Ленсман хотел было поторопить его, но толпе понравилось слушать Ивара. Вот храбрец! Он еще мог шутить пред таким решающим испытанием!

Ивар обхватил кубок обеими руками, и все увидели, что он молится. Прочитав «Отче наш», он громко воскликнул:

– А теперь молю тебя, Господи Иисусе Христе, кому ведомо, что я невинен, да смилуйся надо мной и даруешь мне меньше всего очков: ведь у меня нет ни детей, ни возлюбленной, которые станут плакать по мне!

Вымолвив эти слова, он с такой силой швырнул кости на барабанную шкуру, что те загрохотали.

И все стоявшие перед частоколом пожелали в тот миг, чтобы Ивара Иварссона освободили. Они полюбили его за храбрость и доброту и никак не могли взять в толк, как же это они считали его злодеем.

Почти невыносимо было стоять так далеко, не зная, что выпало на костях. Судья с ленсманом нагнулись над барабаном, чтобы поглядеть, заседатели и присутствовавшие при сем лица знатного сословия подошли поближе и тоже стали глядеть, каков исход. Казалось, все пришли в замешательство, некоторые кивали Ивару Иварссону, кое-кто пожимал ему руку, а толпа так ничего и не знала. По рядам пробежал негодующий ропот.

Тогда судья сделал знак ленсману, и тот поднялся на крыльцо судебной палаты, где его лучше видели и слышали:

– Ивар Иварссон выкинул на обеих костях по шестерке, больше очков набрать нельзя!

Люди поняли, что Ивар Иварссон признан невинным, и обрадовались. А многие стали кричать:

– Будь здрав, Ивар Иварссон!

Но тут случилось такое, что повергло всех в изумление. Пауль Элиассон разразился громкими криками радости и, сорвав с головы свою вязаную шапочку с кисточкой, подбросил ее в воздух. Это произошло так неожиданно, что стражники не успели помешать ему. Все только ахнули. Правда, Ивар Иварссон был Паулю Элиассону все равно что отец, но теперь, когда дело шло о его жизни, неужто он и вправду радовался тому, что другого признали невинным?

Вскоре был восстановлен порядок: начальство отошло направо, арестанты со стражниками налево, другие зрители придвинулись поближе к судебной палате, так что барабан снова остался посредине, ничем не заслоненный, и его было видно со всех сторон. Теперь настал черед Эрика Иварссона подвергнуться смертельному испытанию.

Вперед нетвердой и спотыкающейся походкой вышел надломленный и старый человек. Его едва можно было узнать. Неужто это Эрик Иварссон, который всегда размашисто и властно ступал по земле? Взгляд его потускнел, и кое-кто подумал, что он едва ли сознает до конца, какое ему предстоит испытание. Но, приняв в руки кубок с костями, он попытался выпрямить согнутую спину и произнес.

– Благодарение Богу, что брат мой Ивар оправдан, потому что хоть в этом деле я так же невинен, как и он, он всегда был лучше меня. И молю Господа нашего Иисуса Христа, дабы он сподобил меня выкинуть меньше всего очков, дабы дочь моя могла обвенчаться с тем, кого она любит, и жить с ним счастливо до конца дней своих!

С Эриком Иварссоном случилось то, что часто бывает со стариками: вся его бывшая сила, казалось, ушла в голос. Его слова были услышаны всеми и всколыхнули народ. Уж очень непохоже на Эрика Иварссона было признать, что кто-то много достойнее его, да еще желать себе смерти ради чужого счастья. Во всей толпе не нашлось бы теперь ни единого человека, кто по-прежнему считал бы его разбойником и воров. Со слезами на глазах молились люди Богу, чтобы Эрик выкинул побольше очков.

Он и не потрудился потрясти в кубке кости, а лишь подняв кубок вверх и опустив его вниз, выбросил кости на барабанную шкуру. Глаза его были слишком стары для того, чтобы он мог различить очки на кубиках, и он, даже не удостоив их взглядом, стоял, впери́в взор в пространство.

Но судья и другие поспешили к барабану. И все прочли на их лицах то же удивление, что и в прошлый раз.

А толпа, стоявшая перед частоколом, будто поняла все, что произошло, еще задолго до того, как ленсман огласил исход дела. Какая-то женщина воскликнула:

– Спаси тебя Господь, Эрик Иварссон!

И вслед послышался многоголосый крик:

– Благодарение и хвала Господу за то, что он помог тебе, Эрик Иварссон!

Вязаная шапочка Пауля Элиассона взлетела в воздух, как и в первый раз, и все снова ахнули. Неужто он не думает, чем это грозит ему самому?

Эрик Иварссон стоял безгласный и равнодушный, лицо его ничуть не просветлело. Думали – быть может, он ждет, когда ленсман огласит исход дела, но даже когда это свершилось и Эрик узнал, что он тоже, как и брат его, выкинул на обеих костях по шестерке, он остался безучастен. Он хотел было добраться до своего прежнего места, но так обессилел, что судебному приставу пришлось подхватить его, а то бы не удержаться ему на ногах.

Настал черед Паулю Элиассону подойти к барабану, чтобы попытать свое счастье, и все взоры обратились к нему. Еще задолго до испытания все сочли, что он-то, должно быть, и есть истинный преступник; теперь он был, можно сказать, приговорен. Ведь больше очков, чем братья Иварссоны, выкинуть было невозможно.

Такой исход никого бы прежде не огорчил, но тут все увидали, что Марит Эриксдоттер украдкой пробралась к Паулю Элиассону.

Он не держал ее в своих объятиях, ни поцелуя, ни ласки не было меж ними. Она лишь стояла рядом, крепко-крепко прижавшись к нему, а он обнял ее стан рукой. Никто не мог бы с точностью сказать, долго ли они так простояли, потому что внимание всех поглотила игра в кости.

Как бы то ни было, они стояли бок о бок, соединенные неисповедимой судьбой вопреки страже и грозному начальству, вопреки тысячам зрителей, вопреки ужасной игре со смертью, в которую были вовлечены.

Их свела вместе любовь, но любовь более возвышенная, нежели земная. Они могли бы стоять так летним утром у лаза в плетне, проплясав всю ночь напролет и впервые признавшись друг другу в том, что хотят стать мужем и женой. Они могли бы стоять так после первого причастия, чувствуя, что все грехи сняты с души. Они могли бы стоять так, если бы обоим довелось претерпеть ужас смерти, и перейти в потусторонний мир, и встретиться вновь, и постигнуть, что они на веки вечные принадлежат друг другу.

Она стояла, глядя на него с такой нежной любовью! И что-то шевельнулось в людских душах и подсказало им – вот над Паулем Элиассоном и следовало бы сжалиться. Ведь он был юным деревцом, которому не суждено цвести и плодоносить, он был ржаным полем, которому суждено быть вытоптаным, прежде чем ему доведется одарить кого-либо от щедрот своих.

Он молча опустил руку, обвивавшую стан Марит, и вслед за ленсманом подошел к барабану. По его лицу незаметно было, чтоб он хоть сколько-нибудь тревожился, когда принял в руки кубок. Он не держал речь перед народом, как другие, а повернулся к Марит.

– Не бойся! – сказал он. – Богу ведомо, что я так же невинен, как и другие.

После этого он, будто играючи, перетряхнул несколько раз кости в кубке, не останавливая их, покуда они не перекатились через край и не упали на барабанную шкуру.

– Я выкинул на обеих по шестерке, Марит! Я выкинул по шестерке, и я тоже!

Он будет оправдан – иное ему и в голову не приходило, и от радости он не мог устоять на месте. Высоко подпрыгнув, он подбросил шапочку ввысь, схватил стоявшего рядом с ним стражника в объятия и поцеловал.

Тут многие подумали: «Видать сразу, что он иноземец. Будь он швед, не стал бы торжествовать до времени».

Судья, ленсман, заседатели и знатные господа степенно и не торопясь подошли к барабану и стали разглядывать кости. Но на этот раз вид их был нерадостен. Они лишь покачали головой и ни один из них не поздравил Пауля Элиассона с выпавшим ему на долю счастливым жребием.

Взойдя в третий раз на крыльцо судебной палаты, ленсман возвестил:

– Пауль Элиассон выкинул на обеих костях по шестерке, больше очков набрать нельзя!

Толпа заволновалась, но никто не ликовал. Никому и в голову не пришло, что тут есть какой-то подвох. Этого быть не может! Но всем было боязно и как-то не по себе, поскольку Божий суд ничуть не прояснил суть дела.

Значило ли это, что все трое были одинаково невиновны, или это значило, что все они были одинаково виновны?

Люди увидели, как ротмистр Лёвеншёльд поспешно подошел к судье. Вероятно, хотел сказать, что Божий суд так ничего и не решил, но судья угрюмо отвернулся от него.

Судья с заседателями направились в судебную палату и стали держать совет, а тем временем никто не осмелился ни пошевелиться, ни даже прошептать хоть слово. Даже Пауль Элиассон, и тот держался смирно. Казалось, он понял наконец, что Божий суд можно истолковать и так и этак.

Суд снова появился после краткого совещания, и судья возвестил, что уездный суд склонен толковать Божий приговор таким образом, что всех трех обвиняемых следует признать невиновными.

Вырвавшись из рук стражей, Пауль Элиассон в величайшем восторге опять подбросил свою шапочку, но и это было несколько преждевременно, так как судья еще не кончил речь:

– Но это решение суда надлежит представить королю через гонца, которого нынче же должно снарядить в Стокгольм. Обвиняемым же следует пребывать в темнице, покуда его королевское величество не утвердит приговор суда.

VIII

Однажды осенью, лет тридцать спустя после той достопамятной игры в кости на площади перед судебной палатой в Брубю, Марит Эриксдоттер сидела на крыльце небольшой свайной клетки в усадьбе Стургорден, где она жила, и вязала детские рукавички. Ей хотелось связать их красивым узором в полоску и в клетку, чтобы они доставили радость ребенку, которому она собиралась их подарить. Но она не могла припомнить какой-нибудь узор.

После того как она долгое время просидела на крыльце, рисуя спицей на ступеньке узоры, она пошла в клеть и открыла сундук с платьем, чтобы найти какой-нибудь образчик, по которому могла бы связать рукавички. На самом дне сундука она наткнулась на искусно связанную шапочку с кисточкой, узорную – со множеством всякого рода квадратов и полосок; после некоторого колебания, она взяла шапочку с собой на крыльцо.

Вертя шапочку во все стороны, чтобы разобраться в узорном вязании, она заметила, что шапочка кое-где трачена молью. «Господи боже, немудрено, что шапочка испорчена, – подумала она. – Прошло, верно, самое малое тридцать лет с той поры, как ее носили. Ладно, что я хоть удосужилась вытащить ее из сундука и вижу теперь, что с нею случилось».

Шапочка была украшена большой и пышной разноцветной кисточкой, и в ней-то моли, видимо, и было раздолье. Стоило Марит встряхнуть шапочку, как нитки полетели во все стороны. А кисточка, так та даже оторвалась и упала к ней на колени. Она подняла кисточку и стала разглядывать, сильно ли она попорчена и нельзя ли ее снова прикрепить, однако при этом она вдруг заметила, что среди нитей что-то сверкнуло. Нетерпеливо раздвинув их,

она обнаружила большой золотой перстень с печаткой и с алым камнем, накрепко вшитый в кисточку грубыми холщовыми нитками.

Кисточка с шапочкой выпали у нее из рук. Никогда прежде не доводилось ей видеть этот перстень, но ей вовсе не было нужды разглядывать королевские инициалы на камне или читать надпись на перстне, чтобы узнать, что это за перстень и кто был его владелец. Опершись о перила крыльца, она закрыла глаза и так и сидела, тихая и бледная, словно была при смерти. Ей казалось, что сердце у нее вот-вот разорвется от муки.

Из-за этого перстня отцу ее Эрику Иварссону, дяде ее Ивару Иварссону и жениху ее Паулю Элиассону пришлось расстаться с жизнью, а теперь ей суждено найти тот перстень, накрепко вшитый в кисточку Паулевой шапочки!

Как же он туда попал? Когда же он туда попал? Знал ли Пауль о том, что перстень зашит в кисточку?

Нет! Она тотчас же заверила самое себя, что он никак не мог знать об этом.

Она вспомнила, как он размахивал этой шапочкой и подбрасывал ее ввысь, думая, что и его и стариков Иварссонов оправдают.

Картина эта стояла перед ее глазами, словно все случилось только вчера: огромная толпа людей, сначала исполненная ненависти и вражды к ней и к ее близким, а под конец поверившая в их невиновность. Ей вспомнилось великолепное темно-синее осеннее небо и перелетные птицы, которые сбились с пути и беспокойно металась над площадью, где шел тинг. Пауль видел их и в тот миг, когда она прижалась к нему, он шепнул ей, что скоро его душа будет метаться в небесах, словно маленькая сбившаяся с пути птичка. И он спросил ее, позволит ли она ему прилетать и гнездиться под кровельным желобом усадьбы в Ольсбю.

Нет, Пауль не мог знать, что воровское добро спрятано в шапочке, которую он бросал ввысь, глядя на великолепное осеннее небо.

То было на другой день. Сердце ее судорожно сжималось всякий раз, когда она вспоминала о нем, но теперь ей во что бы то ни стало нужно было вспомнить все до конца. Из Стокгольма пришел указ, что Божий суд следует истолковать так: все трое обвиняемых равно виновны, и их надлежит казнить через повешение.

Она была там, когда приговор приводили в исполнение, была ради того, чтобы люди, которых она любила, знали, что есть на свете человек, который верит в них и скорбит о них. Но ради этого едва ли было надобно идти на холм висельников. После Божьего суда расположение духа у людей стало иным. Все те, кто окружал ее перед солдатским частоколом, были теперь добры к ней. Люди судили да рядили меж собой, а потом решили, что Божий суд следует истолковать так: все трое обвиняемых невиновны. Ведь старый генерал дозволил всем троим выкинуть по две шестерки. Стало быть, и толковать тут больше нечего. Генеральского перстня никто из них не брал.

Когда вывели троих крестьян, раздался всеобщий страшный вопль. Женщины плакали, мужчины стояли, сжав кулаки и стиснув зубы. Говорили, что быть, мол, приходу Бру разоренным, как Иерусалиму, потому что там лишили жизни трех безвинных мужей. Люди выкрикивали слова утешения приговоренным к казни и глумились над палачами. Множество проклятий призывалось на голову ротмистра Лёвеншёльда. Говорили, будто он побывал в Стокгольме и по его вине приговор Божьего суда истолковали в ущерб обвиняемым.

Но, во всяком случае, все люди вместе с Марит считали подсудимых невиновными и верили им, а это помогло девушке пережить тот день. И не только тот день, но и все остальные дни – доныне. Если бы люди, с которыми ей доводилось встречаться, считали ее дочкой убийцы, она не в силах была бы вынести тяготы жизни.

Пауль Элиассон первым взошел на маленький дощатый помост под виселицей. Сперва он бросился на колени и стал молиться Богу; потом обратившись к стоявшему рядом с ним священнику, стал о чем-то молить его. Затем Марит увидела, как пастор снял с его

головы шапочку. Когда все было кончено, пастор передал Марит шапочку и последний привет Пауля. Он послал ей шапочку в знак того, что думал о ней в свой предсмертный час.

Как ей могло даже взбрести на ум, что Пауль подарил бы ей на память шапочку, если бы знал, что в ней спрятано воровское добро? Нет, уж коли было что надежное на свете, так только одно: Пауль не знал, что перстень, который был надет на пальце у покойника, – в шапочке.

Быстро нагнувшись, Марит Эрикسدоттер взяла шапочку, поднесла ее к глазам и стала внимательно разглядывать. «Откуда могла взяться у Пауля эта шапочка? – подумала она. – Ни я, да и никто другой в усадьбе не вязал ее ему. Должно быть, он купил ее на ярмарке, а может статься, сменялся с кем-нибудь».

Она еще раз перевернула шапочку, рассматривая узор со всех сторон. «Когда-то эта шапочка была, верно, красивая и нарядная, – подумала она. – Пауль любил всякие нарядные уборы. Он всегда бывал недоволен, когда мы ткали ему серые сермяжные кафтаны. Он хотел, чтобы сермягу ему всегда красили. А шапочки он любил чаще красные, с большой кисточкой. Эта наверняка пришлась ему по вкусу».

Отложив шапочку, она вновь оперлась о перила, стремясь перенестись в прошлое.

Она была в лесу в то самое утро, когда Ингильберта испугали насмерть. И видела, как Пауль вместе с ее отцом и дядей стоял, склонившись над трупом. Оба старика решили, что Ингильберта нужно перенести вниз, в долину, и отправились нарубить ветвей для носилок. А Пауль на миг замешкался, чтобы рассмотреть Ингильбертову шапочку. У него разгорелись на нее глаза! Шапочка была узорчатая, связанная из красной, синей и белой пряжи, и он незаметно сменял ее на свою. Он сделал это без всякого дурного умысла. Может, он просто хотел немного покрасоваться в ней. Его собственная шапочка, оставленная им Ингильберту, уж конечно была не хуже этой, но не так пестра и не так искусно связана.

А Ингильберт зашил перстень в шапочку, прежде чем отправиться из дому. Может быть, он думал, что за ним будет погоня, и потому пытался спрятать его. Когда он упал, никому и на ум не пришло искать перстень в шапочке, а Паулю Элиассону и подавно.

Да, стало быть, так оно все и случилось. Она могла бы поклясться в этом, но нужно все же убедиться до конца.

Марит положила перстень в сундук и с шапочкой в руках пошла на скотный двор, чтобы потолковать со скотницей.

– Выйди-ка на свет, Мэрта, – крикнула она в темную глубь хлева, – да пособи мне с узором, а то одной никак не сладить!

Когда скотница вышла к ней, Марит протянула ей шапочку.

– Я знаю, что ты мастерица вязать, Мэрта, – сказала она. – Я хотела перенять этот узор, да не могу в нем разобраться. Глянь-ка сама! Ты ведь искусница в этом деле! Куда мне до тебя!

Скотница взяла шапочку и посмотрела на нее. Видно было, что она очень удивилась. Выйдя из тени, отбрасываемой стеной хлева, она вновь стала осматривать шапочку.

– Откуда она у тебя? – спросила Мэрта.

– Она пролежала у меня в сундуке много лет, – ответила Марит. – А зачем ты меня спрашиваешь?

– Затем, что эту самую шапочку я связала моему брату Ингильберту в то последнее лето, когда он еще был жив, – сказала скотница. – Я не видала ее с того самого утра, как он ушел из дому. Как могла она попасть сюда?

– Может, она свалилась у него с головы, когда он упал, – ответила Марит. – И кто-то из наших работников подобрал ее в лесу и принес сюда. Но уж коли эта шапочка растревляет тебе сердце, может, ты и не захочешь снять для меня узор?

– Давай мне шапочку, и узор будет у тебя к завтрашнему дню, – сказала скотница.

В голосе ее послышались слезы, когда, взяв шапочку, она пошла назад на скотный двор.
– Нет, не надо тебе снимать узор, раз тебе это так тяжело, – сказала Марит.
– Ничуть мне не тяжело, коли я делаю это для тебя.

И в самом деле, не кто иная, как Марит, вспомнила о Мэрте Бордсдоттер, оставшейся одной в лесу после смерти отца и брата, и предложила ей пойти скотницей в свою усадьбу Стургорден в Ольсбю. И Мэрта никогда не упускала случая выказать ей благодарность за то, что Марит помогла ей вернуться к людям.

Марит снова отправилась на крыльцо свайной клетки и взяла в руки вязанье, но ей не работалось; опершись, как прежде, головой о перила, она силилась придумать – что же ей теперь делать.

Если бы кто-нибудь в ольсбюской усадьбе знал, как выглядят женщины, отказавшиеся от мирской жизни ради затворничества в монастыре, он сказал бы, что Марит походит на такую женщину. Лицо ее было изжелта-бледным и совсем без морщин. Пришлому человеку почти невозможно было бы сказать – молода она или стара. Во всем ее облике было нечто умиротворенное и кроткое, как у человека, который отрешился от всяких желаний. Ее никогда не видали беззаботно-веселой, но и очень печальной тоже никогда не видали.

После постигшего ее тяжелого удара Марит ясно ощутила, что жизнь для нее кончена. Она унаследовала от отца усадьбу Стургорден, но ясно понимала, что если захочет сохранить ее за собой, ей придется выйти замуж: ведь усадьбе нужен хозяин. Желая избежать замужества, она уступила все свои владения одному из двоюродных братьев совершенно безвозмездно, оговорив себе лишь право жить и кормиться в усадьбе до конца дней своих.

Она была довольна тем, что так поступила, и никогда в том не раскаивалась. Опасаться, что дни потянутся для нее медленно и праздно, не приходилось. Люди уверовали в ее житейский ум и доброту, и стоило кому-нибудь захворать, как тотчас посылали за ней. Дети тоже очень льнули и ласкались к ней. В клетки на сваях у нее всегда бывало полным-полно малышей. Они знали, что у Марит всегда найдется время помочь им управиться с их маленькими горестями.

И вот теперь, когда Марит сидела на крыльце, раздумывая, что ей делать с этим перстнем, на нее напал вдруг страшный гнев. Она думала о том, как легко мог бы отыскаться этот перстень. Почему генерал не позаботился о том, чтобы перстень был найден? Ведь он все время знал, где перстень, теперь-то Марит это понимала. Но отчего же он не устроил так, чтобы Ингильбертову шапочку тоже обыскали? Вместо этого он позволил казнить из-за своего перстня троих невинных людей. На то у него была власть, а вот заставить перстень выйти на свет божий – не было!

Поначалу Марит было подумала, что ей нужно пойти к пастору, рассказать ему все и отдать перстень. Но нет, этого она ни за что не сделает!

Ведь так уж получилось: где бы ни появлялась Марит – в церкви ли, в гостях ли, с ней обходились с величайшим почтением. Ей никогда не приходилось страдать от презрения, которое обычно выпадает на долю дочери лиходея. Люди были твердо убеждены в том, что тут совершена величайшая несправедливость, и хотели искупить ее. Даже знатные господа, встречая, бывало, Марит на церковном холме, непременно подходили к ней перемолвиться несколькими словами. Даже семейство из Хедебю – разумеется, не сам ротмистр, а его жена с невесткой – не раз пыталось сблизиться с Марит. Но она всегда упорно отвергала эти попытки. Ни единого слова не сказала она ни одному из жителей поместья со времен Божьего суда.

Неужто же теперь она выйдет на площадь и громогласно признается в том, что хозяйева Хедебю отчасти были правы? Перстнем, как оказалось, все же завладели крестьяне из Ольсбю? Может, даже заговорят о том, что они-де знали, где перстень, вытерпели арест и дознание, надеясь, что будут оправданы и смогут продать перстень.

Во всяком случае, Марит понимала, что честь ротмистра, а заодно и его отца, будет спасена, если она отдаст перстень и расскажет, где его нашла. А Марит не хотела палец о палец ударить ради того, что принесло бы пользу и выгоду Лёвеншёльдам.

Ротмистр Лёвеншёльд был теперь восьмидесятилетний старик, богатый и могущественный, знатный и почитаемый. Король пожаловал ему баронский титул, и не было случая, чтобы его постигла какая-нибудь беда. Сыновья у него были отменные, жили, как и он, в достатке и удачно женились...

А человек этот отнял у Марит все, все, все, что у нее было.

Она осталась одна на свете, обездоленная, безмужняя, бездетная, и все по его вине. Долгие годы ждала она и ждала, что его постигнет злая кара, но так ничего и не случилось.

Вдруг Марит вскочила, очнувшись от своего глубокого раздумья. Она услышала, как по двору быстро бегут детские ножки; наверное, это к ней.

То были двое мальчиков лет десяти-одиннадцати. Один был сын хозяина дома, Нильс, другого она не знала. И, уж конечно, они прибежали попросить ее в чем-то помочь.

– Марит, – сказал Нильс, – это Адриан из Хедебю. Мы с ним были вон на той дороге и гоняли обруч, а потом повздорили, и я разорвал его шапочку.

Марит молча сидела, глядя на Адриана. Красивый мальчик, в облике которого было нечто кроткое и ласковое. Она схватилась за сердце. Она всегда испытывала боль и страх, когда видела кого-нибудь из Лёвеншёльдов.

– Теперь мы снова дружим, – продолжал Нильс, – вот я и подумал: дай-ка я попрошу тебя, может ты починишь Адриану шапочку, прежде чем он пойдет домой.

– Ладно, – сказала Марит, – починю!

Взяв в руки разорванную шапочку, она поднялась, собираясь войти в клеть.

– Должно быть, это знамение свыше, – пробормотала она. – Поиграйте-ка еще немного на дворе! – сказала Марит мальчикам. – Скоро будет готово.

Прикрыв за собой дверь в клеть, она затворилась там одна и стала штопать дырки в шапочке Адриана Лёвеншёльда.

IX

Снова прошло несколько лет, а о перстне по-прежнему не было ни слуху ни духу. Но вот случилось так, что в году 1788 девица Мальвина Спаак поселилась в Хедебю и стала там домоправительницей. Была она бедной пасторской дочкой из Сёрмланда, никогда прежде границ Вермланда не переступала и не имела ни малейшего понятия о том, что творится в поместье, где ей предстояло служить.

В самый день приезда ее пригласили к баронессе Лёвеншёльд, чтобы доверить весьма странный секрет.

– Мне представляется самым правильным, – сказала хозяйка дома, – сразу же открыться вам, барышня. Надо сказать, у нас в Хедебю водятся привидения. Нередко случается, что на лестницах и в галереях, а иногда даже и в господских комнатах встречаешь рослого, дюжего человека, одетого примерно как старый каролинец – в высокие ботфорты и синий форменный мундир. Он предстает совершенно неожиданно, когда открываешь дверь или выходишь на лестничную площадку: и не успеешь даже подумать, кто это, как он тут же исчезает. Он никого не обижает, и мы даже склонны думать, что он благоволит к нам, и я прошу вас, барышня, не пугаться, когда встретите его.

Девушке Спаак шел в ту пору двадцать второй год; была она легкая и проворная, на редкость искусная во всякого рода домашних делах и работах, расторопная и решительная, так что где бы она ни вела хозяйство, все шло у нее как по маслу. Но она безумно боялась привидений и никогда не нанялась бы в Хедебю, если бы знала, что они там водятся. Однако

теперь она уже приехала, а бедной девушке, право же, не пристало быть особо разборчивой и пренебрегать таким хорошим местом. Поэтому она сделала баронессе реверанс, поблагодарила за предостережение и заверила ее, что не даст себя запугать.

– Мы даже не понимаем, зачем он здесь бродит, – продолжала хозяйка дома. – Дочери считают, что он походит на дедушку моего мужа – генерала Лёвеншёльда, которого вы видите вон на том портрете, и они обычно называют привидение Генералом. Но вы, барышня, разумеется, понимаете, что никто и не подумает сказать, что по дому бродит сам генерал – он-то, очевидно, превосходнейший был человек. По правде говоря, мы и сами не можем все это понять. И если среди прислуги пойдут какие-нибудь пересуды, у вас, барышня, надеюсь, хватит ума не прислушиваться к ним.

Девушка Спаак еще раз сделала реверанс и заверила баронессу, что никогда не допустит среди прислуги ни малейших сплетен о господах; и на сем аудиенция была окончена.

Девушка Спаак была, конечно, всего-навсего бедной экономкой, но поскольку она была не из простых, то ела за господским столом, как и управляющий с гувернанткой. Впрочем, миловидная и приятная, с миниатюрной и хрупкой фигуркой, светловолосая, с розовым, цветущим личиком, она отнюдь не портила вида за господским столом. Все считали ее добрейшим человеком, который смог сделаться полезным во многих отношениях, и она сразу же стала всеобщей любимицей.

Вскоре она заметила, что привидение, о котором говорила баронесса, служило постоянным предметом разговора за столом. То одна из молодых баронесс, то гувернантка объявляли:

– Сегодня Генерала видела я, – и объявляли таким тоном, словно это было каким-то достоинством, которым и похвастаться не грех.

Дня не проходило без того, чтобы кто-нибудь не спросил ее, не встречался ли ей призрак, а поскольку Мальвине постоянно приходилось отвечать «нет», то она заметила, что это повлекло за собой некоторое пренебрежение к ней. Будто она была хуже гувернантки или управляющего, которые видали Генерала несчетное множество раз.

И вправду, девушке Спаак никогда не доводилось так свободно и непринужденно общаться с привидением, как им. Но с самого начала она предчувствовала, что дело это добром не кончится. Их в Хедебю ожидает страшнейший испуг. Она сказала самой себе, что если этот являвшийся им призрак и в самом деле существо из другого мира, то это, бесспорно, какой-нибудь несчастный, который нуждается в помощи живущих, чтобы обрести покой в могиле. Экономка была особа весьма решительная, и будь ее воля и власть, в доме учинили бы строжайший розыск и доискались бы до самой сути этого дела, вместо того чтобы оно служило постоянным предметом беседы за обеденным столом.

Но девушка Спаак знала свое место, и ни единое слово в осуждение господ никогда не сорвалось бы у нее с языка. Сама же она избегала участвовать в общем подшучивании над призраком и хранила в тайне все свои дурные предчувствия.

Целый месяц прожила девушка Спаак в Хедебю, прежде чем ей довелось увидеть призрака. Но однажды утром, спускаясь с чердака, где она пересчитывала перед стиркой белье, экономка встретила на лестнице какого-то человека, который посторонился, дав ей пройти. Было это среди бела дня, и она вовсе не думала ни о каких привидениях. Она только удивилась: что делать чужому человеку на чердаке, и тут же вернулась назад, чтобы осведомиться, за какой надобностью он здесь. Но на лестнице не было видно ни души. Экономка, полная решимости схватить за шиворот вора, снова поспешно взбежала по лестнице, заглянула на чердак, обыскала все темные углы и клеть. Но нигде ни единой души не было, и она внезапно догадалась, что произошло.

– Ну и дура же я! – воскликнула она. – То был, конечно, не кто иной, как Генерал!

Ну, разумеется! Ведь тот человек был одет в синий форменный мундир, точь-в-точь как старый генерал на портрете, и на нем были такие же огромные ботфорты. Лица его она разглядеть как следует не смогла: казалось, будто серая туманная дымка окутала его черты.

Девушка Спаак еще долго оставалась на чердаке, стараясь прийти в себя. Зубы у нее стучали, ноги подкашивались. Если бы ей не надо было думать об обеде, она никогда бы и с чердака не спустилась. Она сразу же решила сохранить в тайне все, что видела, и не дать другим повод подшучивать над собой.

Меж тем Генерал у нее из головы не шел, и, должно быть, это наложило какой-то особый отпечаток на ее лицо, потому что едва все уселись за обед, как сын хозяина дома, девятнадцатилетний юноша, только что приехавший из Упсалы на рождественские каникулы, обратился к ней со словами:

– Сегодня вы, барышня Спаак, видели Генерала! – и сказал это напрямик, так что у нее не хватило духу отпереться.

Девушка Спаак разом почувствовала себя важной персоной за господским столом. Все забросали ее вопросами, на которые она, однако, отвечала как можно короче. К несчастью, ей не удалось отпереться от того, что она немного испугалась, и тут все неопишимо разве-селились. Испугалась Генерала! Кому такое в голову придет!

Девушка Спаак уже не раз обращала внимание на то, что барон с баронессой никогда не принимали участия в подшучивании над Генералом. Они только предоставляли свободу действий другим, не мешая им болтать. Теперь же она сделала новое наблюдение: молодой студент отнесся к этому гораздо серьезнее, нежели прочая молодежь в усадьбе.

– Что до меня, – сказал он, – то я завидую всем, кому довелось видеть Генерала. Я бы хотел ему помочь, но мне он никогда не являлся!

Эти слова он вымолвил с таким искренним сожалением и с таким чувством, что девушка Спаак мысленно помолилась Богу о скорейшем исполнении его желания. Молодой барон наверняка сжалится над злосчастным призраком и вновь дарует ему могильный покой.

Вскоре оказалось, что девушка Спаак в большей мере, чем кто-либо другой из домочадцев, сделалась предметом внимания призрака. Она видела его так часто, что почти привыкла к нему. Он являлся всегда мгновенно и неожиданно – то на лестнице, то в сенях, то в темном углу поварни.

Но причины появления призрака разгадать так и не удалось. Правда, в душе девушки Спаак таилось смутное подозрение – уж нет ли чего в усадьбе, что мог бы разыскивать призрак. Но лишь только его настигал взгляд человеческих глаз, как он тут же исчезал, и она никак не могла уяснить себе его помышлений.

Девушка Спаак заметила, что, вопреки словам баронессы, вся молодежь в Хедебю была твердо уверена в том, что по усадьбе бродит не кто иной, как старый генерал Лёвеншёльд.

– Он томится в могиле, – говорили молодые барышни, – и ему интересно посмотреть, что мы затеваем здесь в Хедебю. Нельзя же отказать ему в этом маленьком удовольствии.

А экономка, которой всякий раз после встречи с Генералом приходилось бежать в кладовую, где она вдали от докучливого зубоскальства служанок могла вволю трепетать от страха и стучать зубами, предпочла бы, чтобы призрак не так живо интересовался Хедебю. Но она понимала, что всему прочему семейству его попросту будет не хватать.

Вот, к примеру, сидели они однажды весь долгий вечер и рукодельничали – то ли пряли, то ли шили, но иной раз и чтение прерывалось, да и беседа иссякала. Тут одна из барышень внезапно вскрикнула от ужаса. Она якобы видела чье-то лицо, нет, собственно говоря, даже не лицо, а лишь два ряда сверкающих зубов, плотно прижатых к оконному стеклу. Поспешно зажгли фонарь, отворили двери в сени и все, предводительствуемые баронессой, выбежали из залы, чтобы найти нарушителя спокойствия.

Но, разумеется, так никого и не смогли найти. Все снова вернулись назад, наглухо закрыли ставни и, пожав плечами, сказали, что, верно, то был не кто иной, как Генерал. Но тем временем сонливость уже прошла. Наконец-то появилась пища для ума, колесо прялки завертелось с новой силой, снова развязались языки.

Семейство Лёвеншёльдов было убеждено в том, что стоит лишь вечером уйти из залы, как ею тотчас же завладевает Генерал и что его непременно нашли бы там, если бы кто-нибудь осмелился войти. Лёвеншёльды ничуть не возражали, чтобы он там обретался. Девушка Спаак даже полагала, что они находили немалое удовольствие, думая о том, что их бесприютный предок может спокойно побыть в теплой и уютной зале.

Когда Генерал перебирался в залу, ему нравилось, если она бывала прибрана и приведена в порядок. Всякий вечер экономка видела, как баронесса с дочерьми складывали свое рукоделие и брали его с собой: прялки и пальцы для вышивания также выносились в другую комнату. На полу не оставляли даже обрывки нитки.

Девушка Спаак, спавшая в каморке рядом с залой, пробудилась однажды ночью оттого, что какой-то предмет гулко ударился о стенку, у которой стояла ее кровать, а потом скатился на пол. Не успела она опомниться, как снова раздался удар и снова что-то покатилося по полу, а потом все повторилось еще дважды.

– Господи боже мой, что это он там затеял? – вздохнула экономка, потому что сразу поняла, кто виновник всей этой кутерьмы.

Да, соседство с ним было совсем не из приятных. Всю ночь напролет она лежала, обливаясь холодным потом и страшаясь, что призрак Генерала войдет и начнет ее душить.

Когда наутро она пошла в залу посмотреть, что там стряслось, она взяла с собой и повариху и горничную. Но ничего там не было разбито, незаметно было и какого-нибудь беспорядка, не считая того, что посреди залы на полу лежали четыре яблока. Как же это они так оплошали! Ведь накануне вечером все, сидя у камина, ели яблоки и четыре яблока забыли на каминной доске. Но это явно не понравилось Генералу. Девушке Спаак пришлось искупить свое нерадение бессонной ночью.

С другой стороны, девушка Спаак никогда не могла забыть, как однажды ей довелось столкнуться с истинной дружественностью Генерала.

В усадьбе Хедебю был званый обед со множеством гостей. Девушка Спаак совсем захлопоталась – мясо на вертелах, воздушное печенье и паштеты в духовке, котелки с бульоном и сковороды с подливкой на плите. Но и этого мало. Экономке пришлось лично присутствовать в зале и присматривать за тем, как накрывают на стол; ей пришлось принять серебро, которое собственноручно выдала ей по счету баронесса. Ей пришлось подумать и о том, чтобы вино и пиво достали из погреба и чтобы вставили свечи в люстры. Если к тому же принять во внимание, что поварня в Хедебю находилась в отдаленном флигеле и, чтобы попасть туда, нужно было бежать через весь двор и что по этому торжественному случаю поварня была битком набита пришедшей, да к тому же еще необученной прислугой, то можно себе представить, что заправлять всем этим должен был человек умелый.

Но все шло без сучка, без задоринки, как и надлежало тому быть. На бокалах не было ни малейших пятен, а в паштетах – затхлой требухи, пиво пенилось, бульон был в меру сдобрен пряностями, а кофе в меру крепкий. Девушка Спаак сумела показать, на что она способна, и сама баронесса, отпуская ей комплименты, сказала, что лучше и быть не могло.

Но тут экономку постиг ужасный и неожиданный удар. Собираясь вернуть баронессе серебро, она хватилась что недостает двух ложек – столовой и чайной.

Все переполошились. По тем временам ничего худшего, нежели пропажа серебра, в доме случиться не могло. В Хедебю началось лихорадочное волнение и всеобщая сумятица. Все только и делали, что искали пропажу. Вспомнили, что какая-то старая цыганка была на поварне в тот самый день, когда в Хедебю пировали, и готовы были ехать в дальние финские

леса^[24], чтобы схватить ее. Все стали подозрительны и безрассудны. Хозяйка подозревала домоправительницу, домоправительница – служанок, служанки – друг друга и весь белый свет. То одна, то другая являлась с покрасневшими от слез глазами, ибо думала, что прочие подозревают ее в краже этих двух ложек.

Так продолжалось несколько дней, однако так ничего и не нашли, и девица Спаак была близка к отчаянию. Она побывала в свинарнике и обыскала свиное корыто с пойлом, желая посмотреть, не угодили ли туда ложки. Она украдкой пробралась на чердак, где служанки держали свое платье, и тайком перерыла их маленькие укладки. Все было тщетно, и где искать еще – она не знала. Она заметила, что баронесса со всеми домочадцами подозревают ее, пришлую. Она понимала, что ей откажут от места, ежели она не откажется сама.

Девица Спаак, склонясь над плитой, стояла в поварне и плакала так горько, что слезы ее капали вниз и шипели на горячей плите; вдруг она почувствовала, что ей надобно обернуться. Так она и сделала и вдруг увидала, что у стены стоит Генерал, указывая рукой на полку, которая была прилажена так высоко и так неудобно, что никому никогда не приходило в голову класть туда что-нибудь.

Генерал исчез, по своему обыкновению, в тот самый миг, как появился, но девица Спаак послушалась его знака. Вытащив из кладовки лестницу, она приставила ее к полке, влезла на самый верх, протянула руку и нащупала старую посудную тряпку. Но в эту грязную тряпку были завернуты обе серебряные ложки.

Как они туда попали? Конечно, это случилось без чьего-либо ведома и умысла. В невероятной суматохе на таком пиру могло случиться все, что угодно. Тряпку зашвырнули на полку, наверное, потому, что она попала под ноги, а серебряные ложки очутились там вместе с ней, причем никто этого не заметил.

Но теперь они снова отыскались, и девица Спаак, сияя от счастья, отнесла их баронессе и вновь стала ее правой рукой и помощницей.

Нет худа без добра. Вернувшись домой по весне, молодой барон Адриан услышал о том, что Генерал выказал девице Спаак свое неслыханное благоволение; и Адриан тотчас же начал уделять ей особое внимание. Он стал как можно чаще навещать ее в буфетную или же в поварню. То он являлся под предлогом, что ему нужна новая леска для удочки, то говорил, что его привлек приятный запах свежеспеченных булочек. При этом он всегда переводил беседу на предметы сверхъестественные. Он склонял экономку рассказывать ему истории о привидениях, водившихся в богатых сёрмландских поместьях, таких, как Юлита и Эриксберг, желая выведать, каково ее мнение об этом.

Но чаще всего ему хотелось потолковать о Генерале. Он говорил ей, что не может рассуждать о нем с другими, поскольку они воспринимают его лишь с шутливой стороны. А он испытывает сострадание к злосчастному привидению и хотел бы помочь ему обрести вечный покой. Только бы знать, как к этому подступиться!

Тут девица Спаак заметила: по ее скромному суждению, в усадьбе есть нечто такое, что разыскивает Генерал.

Молодой барон слегка побледнел и испытующе посмотрел на экономку.

– Ma foi¹, барышня Спаак! – воскликнул он. – Это вполне возможно! Но заверяю вас, что имей мы здесь, в Хедебю, то, чего домогается Генерал, мы бы незамедлительно ему это отдали!

Девица Спаак, разумеется, слишком хорошо понимала, что барон Адриан навещает ее к ней единственно ради привидения, но он был такой обходительный молодой человек и такой красивый! Да, уж если говорить начистоту – даже более чем красивый! Он ходил, чуть склонив вперед голову, а во всем его облике было нечто задумчивое. Да, многие даже пола-

¹ Клянусь честью! (*фр.*)

гали, что он не по летам серьезен. Но полагали так лишь потому, что не знали его. Порою он вдруг вскидывал голову, шутил и придумывал разные проказы почище любого прочего. Но за что бы он ни принимался – в его движениях, голосе, улыбке было какое-то неопишваемое очарование.

Однажды летом, в воскресенье, девица Спаак была в церкви. Домой она возвращалась кратчайшим путем – тропинкой, которая пробегала наискось через городьбу пасторской усадьбы. Кое-кто из прихожан, выйдя из церкви, тоже пошел по этой же тропинке, и экономка, спешившая в усадьбу, обогнала женщину, которая шла куда медленней, чем она. Вскоре девица Спаак подошла к перелазу, по которому трудно было перебраться через изгородь, и, как всегда услужливая, она подумала о более медлительной путнице и остановилась, чтобы помочь ей. Протянув женщине руку, экономка заметила, что та вовсе не так стара, как ей было показалось издали. Кожа у нее была на редкость гладкая и белая, так что девица Спаак решила – может статься, ей не больше пятидесяти. Хотя с виду она была всего лишь простой крестьянкой, держалась она с достоинством, словно ей довелось пережить нечто, возвысившее ее над собственным сословием.

После того как экономка помогла женщине перебраться через изгородь, они пошли рядом по узкой тропинке.

– Вы, барышня, видать, та самая, что заправляет хозяйством в Хедебю, – сказала крестьянка.

– Да, – ответила девица Спаак.

– Я думаю, хорошо вам там живется?

– А почему бы мне жить плохо на таком хорошем месте! – сдержанно возразила экономка.

– Да в народе толкуют, будто в Хедебю нечисто.

– Не годится верить людским пересудам, – наставительно заметила экономка.

– Не годится, верно, не годится, уж я-то знаю! – согласилась собеседница.

Они помолчали. Видно, женщина эта что-то знала, и, по правде говоря, девица Спаак горела желанием порасспросить ее. Но это было бы неладно и ей не к лицу.

Первой снова завела разговор женщина.

– Сдается мне, что вы барышня славная, – молвила она, – и потому я хочу дать вам добрый совет: не засиживайтесь долго в Хедебю. Ведь с тем, кто там бродит, шутки плохи. Он не отступится, покуда не добьется, чего ему нужно.

Поначалу девица Спаак намеревалась было чуть свысока поблагодарить за предостережение, но последние слова незнакомой женщины возбудили в ней любопытство.

– А что ж ему надо? Вы знаете, что ему надо?

– Или вам, барышня, про то неведомо? – спросила крестьянка. – Тогда я слова больше не вымолвлю. Может, так оно и лучше для вас, что вы ничего не знаете.

С этими словами она протянула девице Спаак руку, свернула на другую тропинку и вскоре скрылась из виду.

Девица Спаак поостереглась и не стала рассказывать за обеденным столом всему семейству об этой беседе. Но после обеда, когда барон Адриан наведлся к ней в молочную, она не утаила того, что сказала ей незнакомка. Адриан и вправду очень удивился.

– Должно быть, то была Марит Эрикседоттер из Ольсбю, – сказал он. – Знаете ли, барышня, она впервые за тридцать лет перемолвилась дружеским словом с кем-то из Хедебю. Мне она однажды починила шапочку, которую разорвал мальчонка из Ольсбю, а вид у нее при этом был такой, будто она хотела выцарапать мне глаза.

– Но знает ли она, что именно ищет Генерал?

– Кому же, как не ей, знать об этом, барышня Спаак. И я тоже знаю. Отец рассказал мне как-то всю историю. Но родители мои не хотят, чтоб об этом говорили при сестрах. Они

станут тогда бояться привидений и навряд ли останутся жить здесь. И я тоже не осмеливаюсь рассказать вам об этом.

– Упаси боже! – молвила экономка. – Раз барон запретил говорить...

– Я сожалею об этом, – перебил ее барон Адриан, – я думал, что вы, барышня, сможете мне помочь.

– Ах, если б я могла!

– Ибо, и я это повторяю, – продолжал барон Адриан, – я хочу помочь упокоиться бедному призраку. Я не боюсь его, я последую за ним, как только он позовет меня. Почему является он всем другим и никогда не является мне?

Х

Адриан Лёвеншёльд спал у себя в мансарде, когда внезапный легкий шум заставил его пробудиться. Он открыл глаза и так как ставни не были затворены, а на дворе стояла светлая летняя ночь, он увидел, что дверь тихо распахнулась. Он подумал было, что ее отворил порыв ветра, но увидел, как внезапно в дверном проеме выросла темная фигура, которая, наклонившись, что-то пытливо высматривала в глубине мансарды.

Адриан отчетливо разглядел какого-то старика, одетого в старинный кавалерийский мундир. Из-под чуть расстегнутого мундира белел лосиной кожи колет, ботфорты были выше колен, а руками он придерживал длинный палаш, слегка приподняв его, словно опасаясь, чтобы он не бряцал.

«Ей-богу, это Генерал! – подумал молодой барон. – Вот и хорошо. Сейчас он увидит человека, который не боится его».

Все, кому доводилось видеть Генерала, в один голос твердили, что стоило им только вперить в него взор и он тут же исчезал. Но на сей раз такого не случилось. Еще долго после того, как Адриан обнаружил его, он оставался стоять в дверях. Через несколько минут, когда Генерал, казалось, уверился в том, что Адриан в силах вынести его вид, он, подняв руку, поманил его к себе.

Адриан тотчас же сел в кровати. «Теперь или никогда, – подумал он. – Наконец-то он попросил моей помощи, и я пойду за ним».

Ведь он ждал этого часа много лет. Он готовился к нему, мысленно закалял свой дух в предвкушении встречи с призраком. Он всегда знал, что ее не миновать.

Адриану не хотелось заставлять Генерала ждать его, и, не одеваясь, молодой барон последовал за ним. Он лишь сдернул с кровати простыню и завернулся в нее.

И только тогда, когда он стоял посреди мансарды, ему вдруг пришло в голову, что все же небезопасно вот так предаться во власть существу из другого мира, и он попятился назад. Но увидел, как Генерал простер к нему обе руки и, словно в отчаянии, умолял его о чем-то.

«Что за чепуха?! – подумал он. – Неужто я испугался, не успев еще выйти из мансарды?»

Он приблизился к двери, а Генерал тем временем был уже на чердаке, но шел все время оглядываясь, словно желая увериться в том, что молодой человек следует за ним.

Перед тем, как переступить порог и покинуть мансарду, чтобы выйти на чердак, Адриан почувствовал, как от ужаса у него защемило сердце. Что-то говорило ему: надо бы захлопнуть дверь и вернуться в постель. В нем шевельнулось смутное предчувствие того, что он не рассчитал своих сил. Он был не из тех, кому дано безнаказанно заглянуть в тайны другого мира.

Однако он сохранил еще крупицу мужества. Он сказал себе, что Генерал, наверно, не собирается заманить его в какую-нибудь западню. Он хотел лишь показать ему, где нахо-

дится перстень. Только бы ему вытерпеть еще несколько минут, и он добьется того, к чему стремился столько лет, и сможет послать утомленного путника на вечный покой.

Генерал остановился посреди чердака, поджидая молодого барона. Здесь было сумрачнее, чем в мансарде, но Адриан все же явственно видел темную фигуру с простертыми в мольбе руками. Собравшись с духом, он переступил порог, и они пошли по чердаку.

Призрак направился к чердачной лестнице, а увидев, что Адриан идет следом, начал спускаться. Он по-прежнему пятился задом, останавливаясь на каждой ступеньке и, подчиня своей воле нерешительного юношу, как бы тащил его за собой.

Медленно, не раз останавливаясь, они все-таки шли вперед. Адриан пытался приободриться, напомнив себе, сколько раз он, бывало, похвалялся перед сестрами, говоря, что последует за Генералом, когда бы тот ни позвал его. Он припомнил также, как с самого детства горел желанием постигнуть неведомое и проникнуть в сокровище. И вот великий миг настал, он следовал за призраком в неизвестное. Неужто теперь его жалкое малодушие помешает ему узнать наконец это нечто?

Подобными рассуждениями он побуждал себя крепиться, но остерегался подходить к призраку вплотную. Их постоянно разделял промежуток в несколько аршин. Когда Адриан достиг середины лестницы, Генерал находился уже у ее подножия. Когда Адриан стоял на самой нижней ступеньке, Генерал был уже внизу в сенях.

Но тут Адриан вновь остановился. По правую руку от него, совсем рядом с лестницей, была родительская опочивальня. Он взялся за ручку двери, но не для того, чтобы отворить, а лишь для того, чтобы любовно коснуться ее. Если бы только родители его знали, с кем он стоит за дверью! Он жаждал броситься в объятия матушки. Ему думалось, что стоит ему отпустить ручку этой двери, и он всецело окажется во власти Генерала.

Пока он стоял так, держась за ручку, он увидел, как одна из дверей в сени отворилась и Генерал переступил порог, собираясь выйти из дому.

И на чердаке и на лестнице было довольно сумеречно, но тут через проем двери хлынул сильный поток света, и Адриан впервые разглядел Генерала.

Как и ожидал Адриан, то было лицо старика. Он хорошо знал его по портрету в гостиной. Но черты этого лица не излучали вечного покоя, в чертах его проглядывала яростная алчность, а на устах призрака играла зловещая улыбка торжества и уверенности в победе.

Как ужасно было видеть, что земные страсти обуревают мертвеца! Покойных мы хотим представить себе пребывающими вдали, далекими от всех человеческих наслаждений и страстей. Отрешенными от всего мирского хотим мы видеть их, преисполненными лишь помыслов небесных. В этом же существе, которое оставалось приверженным ко всему земному, Адриану почудился искуситель, злой дух, который хочет навлечь на него гибель.

Им овладел ужас. В безотчетном страхе он с силой рванул на себя дверь в родительскую опочивальню и ринулся туда с криком:

– Батюшка! Матушка! Генерал!

И в тот же миг, лишившись чувств, рухнул на пол.

Перо выпадает из рук. Ну, не тщетны ли мои старания записать все это? Эту историю мне рассказывали в сумерках у горящего очага. В моих ушах до сих пор звучит убедительный голос рассказчицы. Я чувствую, как мороз пробегает у меня по коже, тот трепет ужаса, который бывает не только от боязни привидений, но и от предвкушения того, что произойдет!

А как внимательно слушали мы эту историю, думая, что она приподнимет краешек завесы над неведомым! И какое странное настроение оставляла она после себя, словно отворили какую-то дверь. И думалось: что-то должно наконец появиться из крошечной тьмы!

Насколько правдива эта история? Одна рассказчица унаследовала ее от другой, одна кое-что добавляла, другая – убавляла. Но не содержит ли эта история в себе небольшое зерно

правды? Разве не создается впечатления, словно история эта изображает нечто такое, что происходило въявь?

Призрак, бродивший по усадьбе Хедебю, призрак, являвшийся среди бела дня, вмешавшийся в домашние дела, призрак, отыскивавший потерянные вещи, – кем и чем он был?

Нет ли чего-нибудь необычно многозначительного и заранее предначертанного в его появлении? Не отличается ли он некоторым своеобразием от многих других привидений в господских усадьбах? Не выглядит ли все это так, будто девица Спаак и в самом деле слышала, как он швырял яблоки в стенку залы, а молодой барон Адриан в самом деле сопровождал его по чердаку и по чердачной лестнице?

Но в таком случае, в таком случае... Быть может, разгадать эту загадку дано одному из тех, кто уже сейчас видит явь, скрытую от той яви, в которой живем мы.

XI

Молодой барон Адриан лежал бледный и недвижимый в огромной родительской кровати. Пощупав его пульс, можно было почувствовать, что кровь еще струится в его жилах, но почти неприметно. Он не очнулся после глубокого обморока, однако жизнь в нем еще теплилась.

Лекаря в приходе Бру не было, но в четыре часа утра в Карлстад поехал верхом слуга, чтобы попытаться кого-нибудь привезти. Езды туда было шесть миль, и окажись даже лекарь дома и согласись он тотчас же выехать, его можно было бы ожидать из города самое раннее через двенадцать часов. Но следовало также быть готовым к тому, что пройдет день, а то и два, покада он явится.

Баронесса Лёвеншёльд сидела по одну сторону кровати, не отрывая глаз от лица сына. Она верила, что едва теплившаяся в нем искра жизни не угаснет, если она будет сидеть тут, неусыпно бодрствуя и оберегая его.

Барон также время от времени садился по другую сторону кровати, но был не в силах усидеть на месте. То он брал вялую руку сына, чтобы пощупать пульс, то подходил к окну и бросал взгляд на проезжую дорогу, то шел через комнаты к зале, чтобы взглянуть на часы. На вопросы, которые можно было прочесть в глазах взволнованных дочерей и гувернантки, он лишь качал головой и снова уходил в опочивальню, где лежал больной.

Туда не допускали никого, кроме девицы Спаак. Ни дочерей, ни даже кого-либо из служанок, одну лишь девицу Спаак. У нее была подобающая походка, подобающий голос, она была на своем месте в опочивальне.

Девица Спаак пробудилась ночью от ужасного крика Адриана. Услышав вслед за криком тяжелый звук падения тела, она вскочила. Сама не помня как, набросила на себя платье; среди ее мудрых житейских правил было и такое, что никогда не следует появляться на людях не одетой, при любых обстоятельствах, что бы ни случилось. В зале она встретилась с баронессой, которая прибежала, чтобы позвать на помощь. После этого экономка вместе с родителями подняла Адриана и уложила его в большую двуспальную кровать. Вначале все трое думали, что он уже мертв, но потом девица Спаак нащупала слабое биение пульса.

Несколько раз пытались они привести его обычными способами в чувство, но искорка жизни едва теплилась в Адриане, и что бы они ни делали, она, казалось, все больше угасала. Вскоре они совсем пали духом и не решались больше ничего предпринять. Им оставалось только сидеть и ждать.

Баронессу успокаивало то, что с ней в опочивальне находилась девица Спаак, ибо та была совершенно спокойна и твердо уверена, что Адриан вскоре очнется. Баронесса позволила экономке причесать себя и надеть башмаки. Когда надо было накинуть платье, баро-

нессе пришлось встать, но она, предоставив экономке застегнуть пуговицы и расправить складки, по-прежнему не отрывала глаз от лица сына.

Девушка Спаак принесла ей чашку кофе и с мягкой настойчивостью уговорила выпить его.

Баронессе казалось, будто экономка неотлучно была при ней, но та была еще и в поварне, где, как обычно, позаботилась об еде для прислуги. Она не забыла ни единой мелочи. Бледная как смерть, она все так же исправно делала свое дело. Завтрак был подан к господскому столу вовремя, а пастушок получил свою котомку со съестным, когда погнал коров на пастбище.

В поварне прислуга спрашивала, что стряслось с молодым бароном, и экономка отвечала:

– Известно лишь, что он ворвался к родителям и что-то выкрикнул о Генерале. Затем он упал в обморок, и теперь не удастся привести его в чувство.

– Видать, Генерал явился ему! – сказала повариха.

– А разве не чудно, что он так грубо обходится со своей собственной родней? – подивилась горничная.

– У него, верно, всякое терпение лопнуло. Они только и знали, что насмехаться над ним. А он, видно, свой перстень искал.

– Уж не думаешь ли ты, что перстень тут, в Хедебю? – спросила горничная. – С него бы сталось тогда поджечь крышу над нашей головой и спалить весь дом, только бы заполучить свой перстень!

– Ясное дело, перстень схоронен тут в каком-нибудь углу, – молвила повариха, – а то с чего бы Генералу вечно слоняться по всей усадьбе!

В тот день девушка Спаак отказалась от одного из своих прекрасных житейских правил – никогда не прислушиваться к пересудам слуг о господах.

– О каком это перстне вы толкуете? – спросила она.

– А разве вы не знаете, барышня, что Генерал бродит тут да ищет свой перстень с печаткой? – ответила обрадовавшаяся ее вопросу повариха.

И наперебой с горничной она поспешила посвятить девушку Спаак в историю ограбления могилы и Божьего суда. Когда же экономка выслушала все это, она уже ни на секунду не усомнилась в том, что перстень каким-то образом попал в Хедебю и спрятан где-то там.

От этого рассказа девушку Спаак бросило в дрожь, почти как в тот раз, когда ей впервые встретился на чердачной лестнице Генерал. Вот этого-то она все время и опасалась. А теперь она уже хорошо знала, как свиреп и беспощаден может быть этот призрак. Было ясно как божий день, что, если он не получит назад свой перстень, барон Адриан умрет.

Но едва экономка пришла к такому заключению, как она – особа весьма решительная – тотчас же поняла, что надлежит делать. Если этот проклятый перстень находился в Хедебю, то надо постараться во что бы то ни стало его отыскать.

Она ненадолго прошла в жилую половину господского дома, наведлась в опочивальню, где все было по-прежнему; взбежала по лестнице на чердак и перестлала постель в Адриановой мансарде, чтобы она была наготове на случай, если ему полегчает и его можно будет перенести наверх. Затем зашла в комнаты к барышням и к гувернантке, – смертельно напуганные, они сидели сложа руки, не в силах чем-нибудь заняться. Она рассказала им кое-что из того, что узнала сама, рассказала ровно столько, чтоб гувернантка с барышнями поняли, о чем шла речь, и спросила, не помогут ли они ей отыскать перстень.

Конечно, они тотчас же согласились. Барышни и гувернантка принялись искать в комнатах и в мансарде. Сама же девушка Спаак направилась на поварню и поставила на ноги всех дворовых девушек.

«Генерал является в поварне так же часто, как и в господском доме, – подумала она. – Что-то подсказывает мне – перстень где-то тут».

В поварне и в кладовке, в хлебной и в пивоварне все было перевернуто вверх дном. Искали в стенных щелях, в печных подах, вытряхивали ящики поставца с приправами, обшарили даже мышьи норы.

При всем том девица Спаак не забывала время от времени перебежать через двор и наведаться в опочивальню. Во время одного из таких визитов она застала баронессу в слезах.

– Ему хуже, – сказала баронесса. – По-моему, он при смерти.

Склонившись над Адрианом, девица Спаак взяла его безжизненную руку в свои и проверила пульс.

– Да нет же, госпожа баронесса, – сказала она, – ему не хуже, а, пожалуй, лучше.

Ей удалось успокоить хозяйку, но саму ее охватило безумное отчаяние. А что, если молодой барон не доживет до тех пор, пока она отыщет перстень?

От волнения она, забывшись на миг, перестала владеть собой. Отпуская руку Адриана, она тихонько погладила ее. Сама она едва ли сознавала, что делает, но баронесса тотчас же заметила это.

«*Mon Dieu*², – подумала она, – бедное дитя, неужели это так? Быть может, мне нужно сказать ей... Но не все ли равно, если мы так или иначе его потеряем: Генерал гневается на него, а тот, на кого гневается Генерал, должен умереть».

Вернувшись на поварню, девица Спаак стала расспрашивать служанок, нет ли в здешних краях какого-нибудь знахаря, за которым обычно посылают в несчастных случаях. Неужто непременно надо дожидаться, покуда приедет лекарь?

Да, в других местах, когда кто-нибудь занедужит, посылают за Марит Эрикسدоттер из Ольсбю. Она умеет заговаривать кровь и костоправничать, и уж она-то сумела бы пробудить барона Адриана от смертного сна... Но сюда, в Хедебю, она вряд ли пожелает прийти.

Покуда служанка с экономкой говорили о Марит Эрикسدоттер, повариха, взобравшись на самую верхнюю ступеньку приставной лестницы, заглянула на высокую полку, где некогда отыскивались потерянные серебряные ложки.

– Ой! – вскричала она. – Наконец-то нашла то, что давно искала. Тут лежит старая шапочка барона Адриана!

Девица Спаак ужаснулась. Нечего сказать, хорошие были, видно, порядки у них на поварне до того, как она приехала в Хедебю! Как могла шапочка барона Адриана попасть на полку?

– Эка невидаль, – сказала повариха. – Из этой шапочки он вырос, да и отдал ее мне на тряпки, горшки прихватывать. Вот хорошо-то, что я ее хоть теперь нашла!

Девица Спаак выхватила у нее шапочку из рук.

– Жаль кромсать ее, – сказала она. – Можно отдать какому-нибудь бедняку!

Она вынесла шапочку на двор и стала выбивать из нее пыль. Тем временем из дома вышел барон.

– Кажется, Адриану хуже, – сказал он.

– А разве нет кого-нибудь поблизости в округе, кто умеет пользоваться больных? – как можно простодушнее спросила экономка. – Служанки толковали тут про одну женщину, которую зовут Марит Эрикسدоттер.

Барон оцепенел.

– Разумеется, когда речь идет о жизни Адриана, я бы, не колеблясь, послал за моим злейшим врагом, – сказал он. – Но толку все равно не будет. Марит Эрикسدоттер никогда не придет в Хедебю.

² Боже мой! (*фр.*)

Получив подобное разъяснение, девица Спаак не осмелилась перечить. Она продолжала искать в поварне, распорядилась насчет обеда и устроила так, что даже баронесса немного поела. Перстень не находился, а девица Спаак без конца твердила себе: «Мы должны найти перстень! Генерал лишит Адриана жизни, если мы не отыщем ему перстень».

После обеда девица Спаак отправилась в Ольсбю. Она пошла, ни у кого не спросившись. Всякий раз, когда она входила к больному, пульс его бился все слабее и слабее, а перебои наступали все чаще и чаще. Она была не в силах спокойно дожидаться карлстадского лекаря. Да, более чем вероятно, что Марит ей откажет, но экономка хотела испытать все возможные средства.

Когда девица Спаак пришла в Стургорден, Марит Эрикسدоттер сидела на своем обычном месте – на крыльце свайной клетки. В руках у нее не было никакой работы, она сидела откинувшись назад, с закрытыми глазами. Но она не спала и, когда появилась экономка, подняла глаза и тотчас признала ее.

– Вон оно что, – промолвила она, – теперь из Хедебю за мной посылают?

– Ты, Марит, уже слыхала, как плохи наши дела? – спросила девица Спаак.

– Да, слыхала, – отвечала Марит, – и не пойду!

Девица Спаак не сказала ей в ответ ни слова. Глухая безнадежность придавила ее. Все шло ей наперекор, ополчилось против нее, а уж хуже этого быть ничего не может. Она видела собственными глазами и слышала собственными ушами, как радовалась Марит. Сидела на крыльце и радовалась несчастью, радовалась, что Адриан Лёвеншёльд умрет.

До этой минуты экономка крепилась. Она не кричала, не роптала, увидев Адриана распростертым на полу. У нее была лишь одна мысль – помочь ему и его близким. Но отпор Марит сломил ее силы. Она заплакала горько и неудержимо. Нетвердыми шагами побрела она к стенке одной из пристроек и прижалась к ней лбом, горько рыдая.

Марит чуть подалась вперед. Долго-долго не отрывала она глаз от несчастной девушки. «Ах вот оно что! Неужто так?» – подумала она.

Но пока Марит сидела, разглядывая девушку, слезами любви оплакивавшую возлюбленного, что-то перевернулось в ее душе.

Несколько часов тому назад она узнала, что Генерал явился Адриану и напугал его чуть не до смерти. И она сказала себе самой, что наконец-то час отмщения настал. Много лет ждала она этого часа, но ждала тщетно. Ротмистр Лёвеншёльд сошел в могилу, так и не понеся заслуженной кары. Правда, с тех самых пор, как она переправила перстень в Хедебю, призрак Генерала бродил по всей усадьбе; однако похоже было, будто у него не хватало духу преследовать со свойственной ему лютостью свою собственную родню.

А теперь, когда к ним пришла беда, они тотчас же явились к ней за помощью! Почему не обратились они прямо к мертвецам на холме висельников? Ей доставило удовольствие сказать:

– Не пойду!

Такова была ее месть!

Но когда Марит увидела, как стоит и плачет молодая девушка, прижавшись головой к стене, в ней пробудилась память о былом. «Вот так стояла и я и плакала, прислонившись к жесткой стене. И не было у меня ни единого человека, на которого бы я могла опереться».

И в тот же миг родник девичьей любви вновь забил в душе Марит и обдал ее своими жаркими струями. И она удивленно сказала себе самой: «Так вот как томилась я тогда! Так вот что значит кого-то любить! Как сильно и сладко томилась я тогда!»

Пред ее взором предстал юный, веселый, сильный и прекрасный собой Пауль Элиасон. Она вспомнила его взгляд, его голос, каждое его движение. Сердце ее переполнилось воспоминаниями о нем.

Марит думала, что любила его все это время, и, верно, так оно и было! Но как охладились ее чувства за эти долгие годы! Теперь же, в этот миг, душа ее снова вспылала прежним жарким огнем.

Но вместе с любовью в ней пробудились и воспоминания о той ужасной муке, которую принимает человек, теряющий того, кого он любит.

Марит кинула взгляд на девицу Спаак, которая все еще стояла и плакала. Теперь Марит знала, как тяжело томилась она. Еще совсем недавно над нею тяготел хлад прожитых лет. Она забыла тогда, как жжет огонь, теперь она вспомнила об этом. Она не хотела, чтобы по ее вине кто-нибудь страдал так же, как некогда страдала она сама; она встала и подошла к девушке.

– Идемте! Я пойду с вами, барышня! – коротко сказала она.

Итак, девица Спаак вернулась в Хедебю вместе с Марит Эриксдоттер. За всю дорогу Марит не проронила ни слова. Уже потом экономка поняла, что по пути она, наверно, обдумывала, как ей повести себя, чтобы отыскать перстень.

Экономка прошла с Марит в дом прямо с парадного крыльца и ввела ее в опочивальню. Там все было по-прежнему. Адриан лежал прекрасный и бледный, но тихий, точно мертвец, а баронесса, не шевелясь, сидела рядом, оберегая его покой. Лишь когда Марит Эриксдоттер подошла к кровати, она подняла глаза.

Как только она узнала женщину, которая стояла, глядя на ее сына, она опустилась перед ней на колени и прижалась лицом к подолу ее платья.

– Марит! Марит! – заговорила она. – Забудь обо всем том зле, которое причинили тебе Лёвеншёльды. Помоги ему, Марит! Помоги ему!

Крестьянка чуть отступила назад, но злосчастная мать поползла за ней на коленях.

– Ты не знаешь, как я боялась с тех самых пор, когда Генерал начал бродить по усадьбе. Я страшилась и все время ждала. Я знала, что теперь его гнев обратился против нас.

Марит стояла молча, закрыв глаза, и, казалось, целиком ушла в себя. Однако девица Спаак была уверена, что ей отраднее слушать рассказ баронессы о ее страданиях.

– Я хотела пойти к тебе, Марит, и пасть к твоим ногам, как сейчас, и молить тебя простить Лёвеншёльдов. Но я не посмела. Я думала, что тебе невозможно простить.

– Вы, сударыня, и не должны меня молить, – сказала Марит, – потому что так оно и есть: простить я не могу!

– Но ты все же здесь!

– Я пришла ради барышни, она просила меня прийти.

С этими словами Марит зашла с другого края широкой кровати. Положив больному руку на грудь, она пробормотала несколько слов. При этом она нахмурила лоб, закатила глаза и сжала губы. Девица Спаак подумала, что она ведет себя, как и все прочие знахарки.

– Будет жив, – изрекла Марит, – но запомните, госпожа баронесса, что помогаю я ему только лишь ради барышни.

– Да, Марит, – ответила баронесса, – этого я никогда не забуду.

Тут девице Спаак показалось, будто хозяйка ее хотела еще что-то добавить, но спохватилась и закусилась губу.

– А теперь дайте мне, госпожа баронесса, волю.

– Ты вольна распоряжаться в усадьбе, как тебе вздумается. Барон в отъезде. Я попросила его поехать верхом навстречу доктору и поторопить его.

Девица Спаак ожидала, что Марит Эриксдоттер как-то попытается вывести молодого барона из беспомощности, но та, к величайшему ее разочарованию, ничего подобного делать не стала.

Вместо этого она наказала собрать в кучу все платье барона Адриана: и то, которое служило ему сейчас, и то, которое он носил в прежние годы и которое можно было еще

отыскать. Она хотела видеть все, что он когда-либо надевал на себя: и чулки, и сорочки, и варежки, и шапки.

В тот день в Хедебю только и делали, что искали. Хотя девица Спаак втихомолку вздыхала о том, что Марит, пожалуй, всего лишь обыкновенная знахарка и ворожит как все они, она поспешила вытащить из разных комодов и чердачных клетей, из сундуков и шкафов все, что принадлежало больному. Молодые баронессы, прекрасно знавшие, что носил Адриан, помогали ей, и вскоре она спустилась вниз к Марит с целым ворохом одежды.

Марит разложила одежду на кухонном столе и стала рассматривать каждую вещь в отдельности. Она отложила в сторону пару старых башмаков, так же как пару маленьких варежек и сорочку. Тем временем она однозвучно и беспрестанно бормотала:

– Пару для ног, пару для рук, одну для тела, одну для головы!

– Мне нужно еще что-нибудь для головы, – внезапно сказала она уже более спокойно, – мне нужно что-нибудь теплое и мягкое.

Экономка показала ей шляпы и фуражки, которые она принесла.

– Нет, это должно быть что-нибудь теплое и мягкое, – сказала Марит. – Разве у барона Адриана не было какой-нибудь шапочки с кисточкой, как у других мальчиков?

Экономка только собралась было ответить, что ничего подобного она не видела, но повариха опередила ее:

– Я ведь нашла нынче утром вон там, на полке, его старую шапочку с кисточкой, но барышня взяла ее у меня.

Вот так и случилось, что девице Спаак пришлось отдать шапочку, с которой она намеревалась никогда не расставаться и которую желала сохранить как драгоценное воспоминание до конца дней своих.

Получив шапочку, Марит снова принялась бормотать свои заклинания. Но теперь голос ее звучал по-другому. Казалось, будто кошка мурлыкала от удовольствия.

– Теперь, – сказала Марит после того, как она долго стояла, бормоча, над шапочкой и вертя ее в разные стороны, – теперь ничего больше не надо. Но все это нужно положить Генералу в могилу.

Услыхав эти слова, девица Спаак впала в совершеннейшее отчаяние.

– Неужто ты, Марит, думаешь, что барон дозволит вскрыть склеп, чтобы положить туда такую старую ветошь? – спросила она.

Взглянув на нее, Марит чуть усмехнулась. Взяв за руку девицу Спаак, она потянула ее за собой к окну, так что все, кто был в поварне, оказались у них за спиной. Тогда она поднесла шапочку Адриана к глазам экономки и раздвинула нити большой кисточки.

Ни единым словом не перемолвились Марит с девицей Спаак, но когда экономка отошла от окна, лицо ее было смертельно бледным, а руки дрожали.

Связав отобранные вещи в небольшой узел, Марит передала его экономке.

– Я свое дело сделала, – сказала она, – теперь ваш черед похлопотать о том, чтобы все это попало в могилу.

С тем она и ушла.

Девица Спаак побрела на кладбище немногим позднее десяти часов вечера. Узелок, который ей дала Марит, она несла с собой. Шла она, правда, наудачу. Она совершенно не представляла себе, как ей удастся опустить вещи в генеральский склеп.

Барон Лёвеншёльд приехал верхом вместе с доктором сразу же после того, как ушла Марит, и экономка надеялась, что доктору удастся вернуть Адриана к жизни и ей не придется ничего больше предпринимать. Но доктор тотчас же заявил, что ничем не может помочь. Он сказал, что молодому человеку осталось жить всего лишь несколько часов.

Тогда, сунув узелок под мышку, девица Спаак пустилась в путь. Она знала, что нет никакой возможности побудить барона Лёвеншёльда велеть снять могильные плиты и

вскрыть замурованный склеп только для того, чтобы положить туда несколько старых вещей барона Адриана.

Скажи она ему, что на самом деле находится в узелке, и (она была в этом уверена) он тотчас же возвратил бы перстень его законному владельцу. Но тем самым она предала бы Марит Эрикسدоттер.

Она не сомневалась в том, что именно Марит подкинула некогда перстень в Хедебю. Барон Адриан как-то сказал, что Марит однажды чинила ему шапочку. Нет, экономка не осмелилась рассказать барону, как все было на самом деле.

Девушка Спаак сама потом удивлялась, что в тот вечер совсем не чувствовала страха. Но она перебралась через низкую кладбищенскую стену и подошла к склепу Лёвеншёльдов, думая лишь о том, как ей опустить туда перстень.

Она села на могильную плиту и молитвенно сложила руки. «Если Бог мне не поможет, – думала она, – то могила, конечно, откроется, но не ради перстня, а для того, кого я вечно буду оплакивать».

Посреди молитвы девушка Спаак заметила легкое движение в траве, покрывавшей низкий могильный холмик, на котором покоилась плита. Маленькая головка выглянула из травы и сразу же скрылась, как только экономка вздрогнула от страха. Ибо девушка Спаак так же боялась крыс, как и они ее. Но от страха на экономку снизошло вдохновение. Проворно подошла она к большому кусту сирени, отломала длинную сухую ветку и воткнула ее в норку.

Воткнула сначала отвесно, но ветка тотчас же натолкнулась на препятствие. Тогда она попыталась просунуть ее дальше вкось, и на сей раз ветка продвинулась довольно глубоко по направлению к могиле. Экономка даже удивилась, как далеко она проникла. Прут целиком скрылся в норе. Девушка Спаак проворно вытащила прут снова и измерила его по своей руке. Он был длиной в три локтя и ушел в землю на всю длину. Должно быть, прут этот побывал в могильном склепе.

Ни разу за всю ее жизнь ум девушки Спаак не был так трезв и ясен. Она поняла, что крысы, вероятно, прорыли себе дорогу в могилу. Может быть, в стене была трещина, а может быть, выветрился какой-нибудь камешек.

Она легла плашмя на землю перед холмиком, вырвала клоч дерна, стрепла рыхлую землю и сунула руку в норку. Рука беспрепятственно проникла вниз, но все же не до самой стенки склепа. Туда рука не доставала.

Тогда, проворно развязав узелок, она вытащила оттуда шапочку, нацепила ее на прут и попыталась медленно протолкнуть ее в норку. Вскоре шапочка скрылась из виду. Все так же медленно и осторожно продвигала она прут все дальше и дальше вниз. И вдруг, когда прут почти целиком ушел в землю, она почувствовала, как его резким рывком выхватили у нее из рук. Проскользнув в норку, прут исчез.

Вполне возможно, что его потянула вниз собственная тяжесть, но она была совершенно уверена в том, что прут у нее вырвали.

И тут она наконец испугалась. Схватив все, что было в узелке, она засунула вещи в норку, как могла привела в порядок землю и дерн и пустилась бежать со всех ног. Всю дорогу до самого Хедебю она ни разу не перевела дух, а все бежала и бежала.

Когда она появилась в усадьбе, барон с баронессой уже стояли на парадном крыльце. Они поспешили ей навстречу.

– Где вы были, барышня? – спросили они ее. – Мы стоим тут и поджидаем вас.

– Барон Адриан умер? – спросила в ответ девушка Спаак.

– Нет, не умер, – ответил барон, – но скажите нам сначала, где вы были, барышня Спаак?

Экономка так запыхалась, что едва могла говорить; но все же рассказала о поручении, которое ей дала Марит, и о том, что по крайней мере одну из вещей ей удалось просунуть в склеп через норку.

– Все это очень странно, очень, – вымолвил барон, – потому что Адриану и в самом деле лучше. Совсем недавно он пробудился и первые его слова были: «Теперь Генерал получил свой перстень».

– Сердце снова бьется как всегда, – добавила баронесса, – и он непременно желает побеседовать с вами, барышня. Он говорит, что это вы спасли ему жизнь.

Они допустили девицу Спаак одну к Адриану. Он сидел в постели и, увидев ее, простер к ней руки.

– Я знаю, я уже знаю! – воскликнул он. – Генерал получил свой перстень, и это всецело ваша заслуга, барышня.

Девушка Спаак смеялась и плакала в его объятиях, а он поцеловал ее в лоб.

– Я обязан вам жизнью, – сказал он. – Если бы не вы, барышня Спаак, я был бы уже в этот миг трупом. Я у вас в неоплатном долгу.

Восторг, с которым молодой человек встретил ее, вероятно, и заставил злосчастную девицу Спаак слишком долго задержаться в его объятиях. И Адриан поспешил добавить:

– Не только я обязан вам, но и еще один человек.

Он показал ей медальон, который носил на шее, и девушка Спаак неясно различила в нем миниатюрный портрет молодой девушки.

– Вы, барышня, узнаете об этом первая после родителей, – сказал он. – Когда через несколько недель она придет в Хедебю, она отблагодарит вас еще лучше, нежели я.

И в благодарность за доверие девушка Спаак сделала молодому барону реверанс. Правда, ей хотелось сказать ему, что она вовсе не намерена оставаться в Хедебю, чтобы принять его невесту. Но вовремя одумалась. Бедной девушке не пристало быть особо разборчивой и пренебрегать таким хорошим местом.

Шарлотта Лёвеншёльд

Полковница

I

Жила однажды в Карлстаде полковница по имени Беата Экенстедт.

Она происходила из семьи Лёвеншёльдов, тех, что владели поместьем Хедебю, и, следовательно, была урожденная баронесса. И была она так изящна, так мила, так образованна и умела сочинять шуточные стихи не хуже самой фру Леннгрен^[25].

Росту она была небольшого, но с благородной осанкой, свойственной всем Лёвеншёльдам, и с выразительным лицом. Всякому, кто бы с ней ни встречался, она всегда умела сказать что-нибудь любезное и приятное. В облике ее было что-то романтическое, и те, кто видел ее хотя бы однажды, никогда уже не могли ее забыть.

Одевалась она изысканно и всегда была искусно причесана, и где бы она ни появлялась, на ней непременно оказывалась самая красивая брошь, самый изящный браслет, самый ослепительный перстень. У нее были необычайно маленькие ножки, и при любой моде она неизменно носила крошечные башмачки на высоком каблуке, отделанные золотой парчой.

Жила она в самом красивом доме Карлстада, который не теснился в гуще других домов на узкой улочке, а высился на берегу реки Кларэльв, так что полковница могла любоваться водной гладью из окна своего уютного будуара. Она любила рассказывать, как однажды ночью, когда ясный лунный свет заливал реку, она видела водяного, который играл на золотой арфе под самым ее окном. И никому не приходило в голову усомниться в ее словах. А почему бы водяному и не спеть, подобно многим другим, серенаду полковнице Экенстедт!

Все именитые лица, гостившие в Карлстаде, почитали своим долгом представиться полковнице. Они тотчас же бывали безмерно очарованы ею и сетовали на то, что ей пришлось похоронить себя в захолустье. Рассказывали, будто епископ Тегнер^[26] сочинил в ее честь стихи, а кронпринц^[27] сказал, что она обладает истинно французским шармом. И даже генерал фон Эссен^[28] и другие сановники времен Густава III^[29] вынуждены были признать, что обеды, которые дает полковница Экенстедт, несравненны как по части кушаний и сервировки, так и по части занимательной беседы.

У полковницы были две дочери, Ева и Жакетта. Это были прелестные и добрые девушки, которыми любовались и восхищались бы в любом другом уголке земли, но в Карлстаде никто не удостаивал их ни единым взглядом. Мать затмевала их совершенно. Когда они являлись на бал, молодые кавалеры наперебой приглашали танцевать полковницу, а Еве и Жакетте оставалось лишь подпирать стены. И, как уже упоминалось, не один только водяной пел серенады перед домом Экенстедтов, но звучали они не под окнами дочерей, а единственно лишь под окнами полковницы. Юные поэты готовы были без конца слагать стихи в честь Б. Э., но ни один из них не удосужился сочинить и двух стрóf в честь Е. Э. или Ж. Э.

Злые языки утверждали, что когда однажды некий подпоручик вздумал посвататься к маленькой Еве Экенстедт, то получил отказ, так как полковница сочла, что у него дурной вкус.

Был у полковницы и полковник, славный и добрый малый, которого весьма высоко ценили бы повсюду, но только не в Карлстаде. Здесь его сравнивали с женой, и когда он появ-

лялся рядом с нею, такой блестящей, такой обворожительной, неистощимой на выдумки, полной живости и веселья, то всем казалось, что он смахивает на деревенского помещика. Гости, бывавшие у него в доме, едва давали себе труд выслушивать его; они, казалось, вовсе его не замечали. Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы полковница позволила кому-либо из обожателей, увивавшихся вокруг нее, хоть малейшую вольность; в этом ее нельзя было упрекнуть. Но ей никогда не приходило в голову возражать и против того, что муж постоянно остается в тени. Должно быть, она полагала, что ему лучше не привлекать к себе особого внимания.

Но у этой очаровательной, окруженной всеобщим поклонением полковницы были не только муж и дочери. У нее был еще и сын. И сына своего она обожала, его она боготворила, его выдвигала на первое место при всяком удобном случае. Вот уж его-то не следовало третировать или не замечать тем, кто желал быть снова приглашенным в дом Экенстедтов. Впрочем, нельзя отрицать и того, что полковница вправе была гордиться сыном. Мальчик был и умен, и приветлив, и красив. Он не был ни дерзок, ни назойлив, как другие избалованные дети. Он не отлынивал от занятий в гимназии и никогда не строил каверз учителям. Он был более романтического склада, нежели его сестры. Ему не минуло и восьми лет, когда он начал сочинять премилые стихи. Он мог прийти к матери и рассказать ей, что слышал, как водяной играл на арфе, или видел, как лесные феи танцевали на лугах Вокснеса. У него были тонкие черты лица и большие темные глаза; он был во всех отношениях истинным сыном своей матери.

Хотя сердце полковницы всецело принадлежало сыну, однако никто не смог бы упрекнуть ее в материнской слабости. Во всяком случае, Карл-Артур Экенстедт должен был прилежно трудиться. Мать ценила его превыше всех других людей на земле, но именно поэтому ему пристало приносить из гимназии лишь самые лучшие отметки. И все замечали, что полковница никогда не приглашала к себе в дом учителей, в классы которых ходил Карл-Артур. Никто не должен был говорить, что Карл-Артур получает высокие отметки оттого только, что он сын полковницы Экенстедт, которая дает такие прекрасные обеды. Вот какова была эта женщина!

В аттестате, полученном Карлом-Артуром по выходе из карлстадской гимназии, стояли одни отличные отметки, совсем как в свое время у Эрика Густава Гейера^[30]. И вступительные экзамены в Упсальский университет^[31] были для него, так же как и для Гейера, сущим пустяком. Полковница много раз видела маленького, толстого профессора Гейера и даже бывала его дамой за столом. Спору нет, человек он даровитый и замечательный, но ей казалось, что у Карла-Артура голова устроена ничуть не хуже и что он также когда-нибудь сможет сделаться известным профессором и удостоиться того, что кронпринц Оскар, губернатор Йерта^[32], полковница Сильверстольпе^[33] и другие упсальские знаменитости станут посещать его публичные чтения.

Карл-Артур прибыл в Упсалу к началу осеннего семестра 1826 года. И весь этот семестр, равно как и все последующие годы, что он пробыл в университете, он писал домой раз в неделю. Но ни одно письмо его не было затеряно, полковница бережно их хранила. Сама она то и дело перечитывала их, а на традиционных воскресных обедах, когда собиралась вся родня, она обыкновенно читала вслух последнее из полученных писем. Да и как же ей было не делать этого! Подобными письмами она вправе была гордиться.

У полковницы зародилось подозрение, что родня ее ожидает, будто Карл-Артур, предоставленный самому себе, сделается не таким примерным. И теперь, торжествуя победу, она читала им о том, что Карл-Артур нанял дешевую меблированную квартиру, что он сам покупает на рынке сыр и масло, что он встает с рассветом и работает по двенадцати часов на дню. А все эти почтительные выражения, которые он употреблял в письмах, а слова любви и обожания, которые он обращал к своей матери! Полковница не получала никакой награды

за то, что читала соборному настоятелю Шёборгу, женатому на урожденной Экенстедт, и советнику Экенстедту, дяде ее мужа, и кузенам Стаке, жившим в большом угловом доме на площади, о том, что Карл-Артур, который теперь повидал свет, все еще убежден, что его мать могла бы сделаться большой поэтессой, не сочти она своим долгом жить только для детей и мужа. Нет, она не получала за это никакой награды. Она делала это вполне бескорыстно. Как ни привычна была полковница ко всякого рода славословиям, но, читая эти строки, она не могла сдержать слез.

Однако самый большой триумф ожидал полковницу перед Рождеством, когда Карл-Артур уведомил родителей, что не издержал всех денег, которые отец дал ему с собой в Упсалу, и почти половину их привезет назад. Тут уж и соборный настоятель и советник пришли в совершенное изумление, а один из кузенов Стаке, тот, что повыше ростом, поклялся, что ничего подобного прежде на свете не случалось и наверняка не случится впредь. Вся родня единодушно сошлась на том, что Карл-Артур истинное чудо.

Разумеется, полковнице очень недоставало Карла-Артура, который находился в Упсале большую часть года, но письма его доставляли ей столь безмерную радость, что едва ли она могла бы желать чего-нибудь иного.

Побывав на лекции знаменитого поэта-романтика Аттербума^[34], он мог пуститься в увлекательные рассуждения о философии и поэзии, и, получив подобное письмо, полковница могла часами сидеть и мечтать о том величии, какого достигнет в будущем Карл-Артур. Она иначе и не мыслила, что известностью он превзойдет профессора Гейера. Быть может, он даже станет таким же великим ученым, как Карл Линней^[35]. Отчего бы ему тоже не стать мировой знаменитостью? Или великим поэтом? Вторым Тегнером? Ах, никакие самые изысканные яства на свете не могут доставить человеку большего наслаждения, чем те, которые он предвкушает в мечтах.

На Рождество и на летние вакации Карл-Артур обыкновенно приезжал домой в Карлстад, и полковнице казалось, что он с каждым разом делается все мужественнее и красивее. В остальном же он ничуть не менялся. Он по-прежнему боготворил мать, выказывал все ту же почтительность отцу, все так же шутил и ребячился с сестрами.

Порою полковница несколько досадовала на то, что Карл-Артур столько лет обучается в Упсале и покуда ничем еще не отличился. Но все объясняли ей, что Карл-Артур готовится держать экзамен на кандидата, а это требует изрядного времени. Пусть-ка вообразит себе, что это значит – держать экзамен по всем предметам, которые читаются в университете. Тут и астрономия, и древнееврейская письменность, и геометрия. Скоро со всем этим не разделаешься. По мнению полковницы, экзамен был чрезмерно суров, и в этом все были с нею согласны, но тут уж ничего нельзя было изменить даже ради Карла-Артура!

В конце осени 1829 года, в седьмом семестре, Карл-Артур, к великой радости полковницы, сообщил, что намеревается писать сочинение по-латыни. Само по себе испытание не составит особой трудности, но оно очень важно, ибо, чтобы быть допущенным к экзамену, надо успешно написать сочинение.

Для Карла-Артура это отнюдь не было событием. Он писал лишь, что неплохо бы покончить с латинским сочинением. У него ведь никогда не было неладов с латынью, как у всех добрых людей, и он вполне мог рассчитывать, что все пройдет как нельзя лучше.

В том же письме он упоминал, что пишет своим любезным родителям последний раз в нынешнем семестре. Как только станет известен исход испытания, он тотчас же отправится в путь. И он твердо убежден, что в последний день ноября сможет заключить в объятия родителей и сестер.

Впоследствии Карл-Артур был очень рад тому, что это испытание не являлось для него событием, ибо на латыни он срезался. Упсальские профессора позволили себе срезать его, несмотря на то, что в аттестате карлстадской гимназии у него стояли лишь самые высокие

отметки. Он был скорее смущен и удивлен, нежели обескуражен. Он не сомневался, что знал латынь достаточно, чтобы выдержать экзамен. Разумеется, досадно было возвращаться домой, потерпев неудачу, но он надеялся, что родители и, уж во всяком случае, мать, поймут, что дело тут, должно быть, в каких-то придираках. То ли упсальские профессора желали показать, что взыскивают более строго, нежели гимназические учителя в Карлстаде, то ли сочли его чересчур самонадеянным оттого, что он не посещал некоторых лекций.

Между Упсалой и Карлстадом было много дней пути, и можно сказать, что к тому времени, когда Карл-Артур тридцатого ноября в сумерках миновал восточную заставу, он совсем забыл о своей неудаче.

Он был доволен, что приезжает точно в день, назначенный им в письме. Он думал о том, что матушка, должно быть, стоит сейчас у окна, высматривая его, а сестры накрывают стол для кофе.

Все в том же безмятежном расположении духа проехал он весь город и выбрался наконец из узких и кривых улочек к западному протоку реки, на берегу которого находился дом Экенстедтов.

Боже, что это? Весь дом озарен огнями, он светится, точно церковь рождественским утром. И сани с закутанными в меха людьми стрелой проносятся мимо, явно направляясь к его дому.

«У нас, верно, какое-то торжество», – подумал он с легкой досадой.

Он утомился с дороги, а теперь ему не удастся отдохнуть: придется переменить платье и до полуночи быть с гостями.

Внезапно его охватило беспокойство. «Только бы матушка не вздумала затеять торжество из-за моего латинского сочинения».

Желая избежать встречи с гостями, он попросил кучера подъехать к заднему крыльцу.

Спустя несколько минут послали за полковницей. Не угодно ли ей будет пожаловать в комнату экономки? Карл-Артур желал бы поговорить с ней.

Полковница была в большом беспокойстве, опасаясь, как бы Карл-Артур не запоздал к обеду, и теперь безмерно обрадовалась, услышав о его приезде. Она поспешила к нему.

Но Карл-Артур встретил ее с самым суровым видом. Он не обратил внимания на ее протянутые руки. Он и не собирался здороваться с ней.

– Что это вы затеяли, матушка? – спросил он. – Отчего весь город зван к нам именно сегодня?

На сей раз не было и речи о «любезных родителях». Он не выказал ни малейшей радости при виде матери.

– Но я полагала, нам следует устроить небольшое торжество, – сказала полковница. – Раз ты наконец написал это ужасное сочинение.

– Вам, матушка, разумеется, и в голову не приходило, что я мог срезаться, – сказал Карл Артур. – Тем не менее дело обстоит именно так.

У полковницы и руки опустились. Да, никогда, никогда в жизни не могло бы ей прийти в голову, что Карл-Артур способен срезаться.

– Само по себе это не так уж важно, – сказал Карл-Артур. – Но теперь об этом узнает весь город. Ведь вы, матушка, созвали сюда всех этих людей, чтобы отпраздновать мой триумф.

Полковница все еще не могла оправиться от изумления и растерянности.

Она-то ведь знала карлстадцев. Они не отрицали, что усердие и бережливость – весьма ценные качества студента, но этого им было явно недостаточно. Им подавай премии Шведской академии^[36], блестящие выступления на ученых диспутах, которые заставили бы побледнеть от зависти старых профессоров. Они ожидают гениальных импровизаций на национальных торжествах, приглашений в литературные салоны к профессору Гейеру,

губернатору фон Кремеру^[37] или к полковнице Сильверстольпе. Так, по их понятиям, должно было быть. Но пока что в ученой карьере Карла-Артура не наблюдалось подобных блестящих триумфов, которые могли бы свидетельствовать о его выдающемся даровании. Полковница понимала, что карлстадцы ждут их, и когда Карл-Артур наконец хоть чем-то отличился, она решила, что не худо будет отметить это событие с некоторой помпой. А уж то, что Карл-Артур может не выдержать испытания, ей и в голову не приходило.

– Никто ничего не знает наверное, – в раздумье сказала она. – Никто, кроме домашних. Остальные знают лишь, что их ждет маленький приятный сюрприз.

– Вот и придумайте им, матушка, какой-нибудь приятный сюрприз, – сказал Карл-Артур. – Я же намерен отправиться в свою комнату и к обеду не выйду. Не думаю, чтобы карлстадцы столь близко к сердцу приняли мою неудачу, но быть предметом их сожаления я не желаю.

– Боже, что бы такое придумать? – жалобно произнесла полковница.

– Предоставляю это вам, матушка, – ответил Карл-Артур. – А теперь я иду к себе. Гостям вовсе незачем знать, что я вернулся.

Но нет, это было нестерпимо, это было совершенно невыносимо. Полковница будет блистать за столом, все время думая о том, что он, раздосадованный, злой, в одиночестве расхаживает у себя наверху. Она будет лишена счастья видеть его подле себя. Этого она вынести не в силах.

– Милый Карл-Артур, ты сможешь спуститься к обеду. Я что-нибудь придумаю.

– Что же вы придумаете, матушка?

– Еще не знаю. Впрочем, нет, знаю! Ты останешься доволен. Никто не догадается, что обед был затеян в твою честь. Только обещай мне переменить платье и сойти вниз.

Обед удался на славу. Из многих блестящих и великолепных празднеств в доме Экенстедтов это оказалось самым достопамятным.

За жарким, когда подали шампанское, гостям и вправду был сделан сюрприз. Полковник встал и попросил всех присутствующих выпить за благополучие его дочери Евы и поручика Стена Аркера, о помолвке которых он объявляет.

Слова его вызвали всеобщий восторг.

Поручик Аркер был небогатый мальчик, без всяких видов на повышение. Его знали как давнего воздыхателя Евы, а поскольку у девиц Экенстедт редко объявлялся какой-нибудь поклонник, то весь город интересовался исходом дела. Но все ожидали, что полковница откажет ему.

Впоследствии слух о том, как действительно обстояло дело с помолвкой, просочился в город. Карлстадцам стало известно, что полковница позволила обручиться Еве и Аркеру только затем, чтобы никто не заподозрил, что сюрприз, который она сначала приготовила гостям, не удался.

Но это отнюдь не умалило всеобщего восхищения полковницей. Напротив, все только и говорили, что мало кто умеет так блестяще выходить из неожиданных затруднительных положений, как полковница Беата Экенстедт.

II

Полковница Беата Экенстедт отличалась тем, что если кто-нибудь наносил ей обиду, она ждала, чтобы провинившийся сам пришел к ней и попросил прощения. Едва этот ритуал бывал завершен, она прощала обидчику от всего сердца и обращалась с ним столь же приветливо и дружески, как и до размолвки.

Все Святки она ждала, чтобы Карл-Артур попросил у нее прощения за то, что столь резко говорил с ней в день своего приезда из Упсалы. Она находила вполне объяснимым, что

он забылся в минуту горячности, но не могла понять, отчего он молчит о своей вине после того, как у него было время одуматься.

Но Святки проходили, а Карл-Артур не произносил ни слова раскаяния или сожаления. Он, как обычно, веселился на балах, участвовал в санных катаниях, был мил и внимателен к домашним, но не говорил тех слов, которых полковница ждала от него. Быть может, никто, кроме них двоих, не замечал, что между матерью и сыном возникла невидимая стена, которая мешает их подлинной близости. Хотя ни мать, ни сын отнюдь не скупилась на изъявления любви и нежности, но то, что разделяло и отдаляло их друг от друга, все еще не было устранено.

Возвратясь в Упсалу, Карл-Артур думал лишь о том, чтобы выдержать испытание по латыни. Если полковница надеялась, что он повинится перед нею в письме, то ей пришлось разочароваться. Карл-Артур писал только о своих занятиях. Он стал посещать лекции по латинской словесности у двух приват-доцентов, прилежно ходил на занятия по латинскому языку и записался в клуб, члены которого упражнялись в диспутах и речах на латыни. Он делал все, что было в его силах, чтобы на этот раз выдержать испытание.

Домой он писал самые обнадеживающие письма, и полковница отвечала ему в том же тоне; но все же она втайне тревожилась за него. Он был дерзок со своей матерью и не попросил у нее прощения – Бог может покарать его за это.

Не то чтобы она желала этой кары своему сыну. Напротив, она молила Всевышнего пренебречь этой мелкой провинностью сына, забыть о ней. Она пыталась объяснить Богу, что во всем виновата она сама.

– Ведь это я по глупости и тщеславию вздумала похвалиться его успехами, – говорила она, – я достойна кары, а не он.

Но все же в каждом письме сына она искала слов, которых ждала, и, не находя их, все больше впадала в беспокойство.

Она чувствовала, что, не получив ее прощения, Карл-Артур не сможет успешно выдержать испытания.

В один прекрасный день, в конце семестра, полковница объявила, что намерена отправиться в Упсалу, чтобы повидаться со своим добрым другом Маллой Сильверстольпе. Они свели знакомство прошлым летом в Кавлосе у Гюлленхоллов^[38] и так подружились, что добрейшая Малла пригласила ее зимой приехать в Упсалу, дабы она смогла познакомить ее со своими литературными друзьями.

Весь Карлстад изумился, узнав, что полковница решила на такую поездку в самую распутицу. Все ждали, что полковник воспротивится этой затее, но полковник, как всегда, согласился с женой, и она отправилась в путь. Как и предсказывали карлстадцы, путешествие было ужасным. Много раз дормез полковницы увязал в грязи, и его приходилось вытаскивать с помощью жердей. Однажды лопнула рессора, в другой раз сломалось дышло. Но ничто не могло остановить полковницу. Маленькая и хрупкая, она держалась мужественно, никогда не падала духом, и содержатели постоянных дворов, смотрители на станциях, кузнецы и крестьяне, с которыми ей приходилось сталкиваться на Упсальском тракте, готовы были жизнь за нее положить. Они будто знали, как важно было полковнице добраться до Упсалы.

Фру Малла Сильверстольпе была, разумеется, предуведомлена о ее приезде, но Карл-Артур не знал ничего, и полковница просила не говорить ему об этом. Она хотела сделать ему сюрприз.

Полковница добралась уже до Енчёпинга, но тут вышла новая задержка. До Упсалы оставалось всего несколько миль, но у колеса лопнул обод, и пока его не скрепили, ехать дальше было нельзя. Полковница была вне себя от волнения. Она ведь уже целую вечность в пути, а испытание по латыни может быть назначено в любой час. Но она только затем и

отправилась в Упсалу, чтобы Карл-Артур имел случай перед испытанием попросить у нее прощения. Она знала, что если он этого не сделает, ему не помогут ни лекции, ни занятия. Он непременно срежется.

Ей не сиделось в отведенной для нее комнате на постоялом дворе. Она поминутно вскакивала и спускалась во двор, чтобы посмотреть, не везут ли от кузнеца колесо.

И вот, выйдя как-то на крыльцо, она увидела, что на постоялый двор заворачивает двуколка, а в ней рядом с возницей сидит какой-то студент. Когда же студент выпрыгнул из двуколки, то оказалось... нет, она не могла поверить глазам... ведь это был Карл-Артур!

Он направился прямо к ней. Он не заключил ее в объятия, но схватил ее руку, прижал к своей груди и посмотрел ей в глаза своими красивыми, мечтательными детскими глазами.

– Матушка, – сказал он, – простите меня за то, что я дурно вел себя нынче зимой, когда вы затеяли праздник из-за моего латинского сочинения.

Счастье было слишком велико, чтобы в него можно было поверить. Полковница высвободила свою руку, обняла Карла-Артура и осыпала его поцелуями. Она не понимала, как он очутился здесь, но знала, что вновь обрела сына, и чувствовала, что это самая счастливая минута в ее жизни.

Она увлекла его за собою в свою комнату, и тут все объяснилось. Нет, он не писал еще сочинения. Испытание назначено было на следующий день. Но, несмотря на это, Карл-Артур ехал теперь в Карлстад, чтобы увидеться с матерью.

– Да ты просто безумец! – воскликнула она. – Неужто ты рассчитывал обернуться за сутки?

– Нет, – ответил он. – Я бросил все на произвол судьбы. Но я знал, что должен это сделать. Иначе нечего было и пытаться. Без твоего прощения мне не было бы удачи.

– Но, мальчик мой, для этого довольно было одного слова в письме.

– Какое-то смутное, неясное чувство томило меня весь семестр. Я ощущал страх и неуверенность, но не понимал отчего. Лишь этой ночью все стало мне ясно. Я ранил сердце, которое бьется для меня с такой любовью. Я чувствовал, что не смогу добиться успеха, пока не повинюсь перед своей матерью.

Полковница сидела у стола. Одной рукой она прикрыла глаза, полные слез, другую протянула сыну.

– Это поразительно, Карл-Артур, – сказала она. – Говори, говори еще!

– Так слушайте, – начал он. – На одной квартире со мной стоит еще один студент-вермландец по имени Понтус Фриман. Он пиетист и не водит знакомства ни с кем из студентов; и я тоже не znalся с ним. Но нынче утром я пришел в его комнату и рассказал ему все. «У меня самая любящая мать на свете, – сказал я. – А я оскорбил ее и не попросил у нее прощения. Что мне делать?»

– И что же он ответил?

– Он сказал: «Поезжай к ней тотчас же!» Я объяснил, что желал бы этого больше всего на свете, но что завтра я должен писать рго ехегситио³ и наверняка вызову неудовольствие моих родителей, если пропущу это испытание. Но Фриман и слушать ничего не хотел. «Поезжай тотчас! – сказал он. – Не думай ни о чем другом, кроме примирения с матерью. Бог поможет тебе».

– И ты уехал?

– Да, матушка, чтобы упасть к твоим ногам. Но едва сев в коляску, я понял все непростительное безрассудство своего поступка. У меня появилось непреодолимое желание повернуть назад. Я ведь знал, что если даже задержусь в Упсале еще на несколько дней, все

³ Сочинение (лат.).

равно твоя любовь простит мне все. Тем не менее я продолжал свой путь. И бог помог мне. Я застал тебя здесь. Не знаю, как ты попала сюда, но это, видно, Промысл Божий.

Слезы струились по щекам матери и сына. Ну, не чудо ли сотворено ради них? Они знали, что благое Провидение печется о них. Сильнее чем когда-либо ощущали они любовь друг к другу.

Целый час пробыли они вместе на постоялом дворе. Затем полковница отослала Карла-Артура назад в Упсалу и просила передать любезной Малле Сильверстоल्पе, что на этот раз не приедет к ней. Стало быть, полковница вовсе не заботилась о том, чтобы попасть в Упсалу. Цель ее поездки была достигнута. Теперь она знала, что Карл-Артур выдержит испытание, и могла спокойно возвращаться домой.

III

Всему Карлстаду было известно, что полковница очень набожна. Она являлась в церковь на все воскресные службы столь же неизменно, как и сам пастор, а в будни утром и вечером устраивала молитвенный час со своими домочадцами.

У нее были свои бедняки, о которых она вспоминала не только на Рождество, но оделяла их подарками весь год. Она кормила обедами неимущих детей в гимназии, а старух богаделок не забывала побаловать праздничным кофе в день святой Беаты.

Но вряд ли кому-нибудь из карлстадцев, а всего менее полковнице, могла прийти в голову мысль о том, что Богу может быть не угодно, если она с настоятелем собора, советником и старшим из кузенов Стаке мирно посидят в воскресенье за бостоном после семейного обеда.

И столь же мало греха видели они в том, что барышни и молодые люди, которые обычно бывали в доме Экенстедтов, немного покружатся в танце воскресным вечером.

Ни полковница, ни кто-либо другой из карлстадцев отроду не слыхивали о том, что грешно подать к праздничному обеду хорошего вина и, осушая бокал, спеть застольную, нередко сочиненную самой хозяйкой. Не ведали они и о том, что Богу не угодно, чтобы люди читали романы или посещали театр.

Полковница обожала любительские спектакли и сама участвовала в них. Отказаться от этого удовольствия было бы для нее большим лишением. Она была словно рождена для сцены, и карлстадцы говорили, что ежели фру Торслов^[39] играет на театре хоть вполчину так же хорошо, как полковница Экенстедт, то немудрено, что стокгольмцы так восторгаются ею.

Но Карл-Артур целый месяц прожил в Упсале после того, как написал трудное латинское сочинение, и все это время он часто виделся с Понтусом Фриманом. А Фриман был ярким и красноречивым приверженцем пиетизма^[40], и влияние его на Карла-Артура не могло не сказаться.

Разумеется, тут не было и речи о решительном обращении или вступлении в секту, но дело все-таки зашло столь далеко, что Карл-Артур был обеспокоен мирскими удовольствиями и развлечениями в доме родителей.

Надо ли упоминать, что именно в это время между сыном и матерью царили особенная близость и доверие, и он открыто говорил полковнице о том, что считает зазорным подобный образ жизни.

И мать уступала ему во всем. Поскольку он огорчился ее карточной игрой, она на следующем обеде, отговорившись головной болью, вместо себя усадила за бостон полковника. Ибо о том, чтобы советник и настоятель лишились своей обычной партии в бостон, невозможно было и помыслить.

А поскольку Карлу-Артуру не по душе было то, что она танцевала, она отказалась и от этого. Когда молодые люди в воскресенье вечером явились к ним с визитом, она напомнила им, что ей уже пятьдесят лет, что она чувствует себя старухой и не хочет больше танцевать. Но увидя их разочарованные лица, смягчилась, села за фортепьяно и до полуночи играла разные танцы.

Карл-Артур приносил ей книги, прося ее прочесть; она брала их у него с благодарностью и находила весьма возвышенными и поучительными.

Но полковница не могла довольствоваться чтением одних только религиозных книг. Она была просвещенной женщиной и следила за светской литературой; и вот однажды Карл-Артур уличил ее в том, что она читает Байронова «Дон Жуана», спрятав его под молитвенником. Он повернулся и вышел, не сказав ни слова, и полковница была тронута тем, что он не сделал ей никаких упреков. На другой день она уложила все свои книги в сундук и велела унести их на чердак.

Нельзя отрицать, что полковница старалась быть уступчивой, насколько это было для нее возможно. Она была женщина умная и проницательная и понимала, что у Карла-Артура это всего лишь преходящее увлечение, которое пройдет с течением времени, и пройдет тем скорее, чем меньше противодействия ему будут оказывать. По счастью, время было летнее. Почти все богатые карлстадские семейства были в отъезде, так что больших званых вечеров никто не давал. Общество довольствовалось невинными пикниками на лоне природы, катаньем на лодках по живописной реке Кларэльв, прогулками в лес по ягоды и игрой в горелки.

Между тем на конец лета была назначена свадьба Евы Экенстедт с ее поручиком, и полковница чувствовала себя обязанной сыграть пышную, богатую свадьбу. Если она выдаст Еву замуж скромно и без подобающей пышности, в Карлстаде снова начнутся толки о том, что она не любит своих дочерей. Но, к счастью, ее уступчивость уже оказала, как видно, свое успокоительное действие на Карла-Артура. Он не воспротивился ни двенадцати блюдам, ни тортам и сладям, которые будут поданы на обеде. Он не возражал даже против вина и других напитков, выписанных из Гётеборга. Он не выразил протеста ни против венчания в соборе и цветочных гирлянд на улицах, по которым проследует свадебный поезд, ни против факелов и фейерверка на берегу реки. Более того – он сам принял участие в приготовлениях и вместе с другими трудился в поте лица, плетя венки и вывешивая флаги.

Но в одном он был тверд и непреклонен. На свадьбе не должно быть танцев. И полковница обещала ему это. Ей даже доставило удовольствие уступить ему в этом, в то время как он оказался столь терпимым во всем другом.

Полковник и дочери робко пытались протестовать. Они спрашивали, чем же занять всех этих приглашенных на свадьбу молодых лейтенантов и карлстадских девиц, которые наверняка надеются, что будут танцевать всю ночь. Но полковница отвечала, что вечер с Божьей помощью пройдет хорошо, что лейтенанты и девицы отправятся в сад слушать полковую музыку и смотреть, как в небо взлетают ракеты и как пламя факелов отражается в речной воде.

Зрелище это будет столь красиво, полагала она, что никто и не станет помышлять о каких-нибудь иных развлечениях. Право же, это будет более достойным и торжественным освящением нового брачного союза, нежели скаканье галопом по танцевальной зале.

Полковник и дочери уступили, как всегда, и мир в доме не был нарушен.

Ко дню свадьбы все было устроено и подготовлено. Все шло как по маслу. Погода была на редкость удачна; венчание в церкви, речи и тосты во время обеда прошли как нельзя лучше. Полковница написала прекрасное свадебное стихотворение, которое было оглашено за столом, а в буфетной военный оркестр Вермландского полка играл марш при каждой перемене блюд. Гости находили, что угощение было щедрым и обильным, и во все время обеда пребывали в самом приятном и веселом расположении духа.

Но когда встали из-за стола и кофе был выпит, всех обуяло непреодолимое желание танцевать.

Надо сказать, что обед начался в четыре часа, но поскольку гостям прислуживало множество лакеев и служанок, то длился он всего лишь до семи. Можно было только удивляться тому, что двенадцать блюд и все эти бесконечные речи, фанфары, застольные песни заняли не более трех часов. Полковница надеялась, что гости будут сидеть за столом хотя бы до восьми, но надежды ее не оправдались.

Итак, часы показывали всего лишь семь, а о том, чтобы разъехаться ранее полуночи, и речи быть не могло. Гостей охватил страх при мысли о тех долгих, скучных часах, которые им предстояли. «Если бы можно было потанцевать!» – втихомолку вздыхали они, ибо полковница, разумеется, была предусмотрительна и заранее уведомила всех о том, что танцев на свадьбе не будет. «Чем же нам развлечься? Это ужасно – провести в болтовне столько часов подряд и все время сидеть без движения».

Юные девицы оглядывали свои светлые кисейные платья и белые атласные башмачки. И то и другое было предназначено для танцев. Когда на тебе такой наряд, желание танцевать рождается само собой. Они не могли думать ни о чем другом.

Молодые лейтенанты Вермландского полка, незаменимые кавалеры на балах, обычно бывали нарасхват. В зимнее время их столь часто звали на балы, что танцы приедались им и соблазнить их этим было нелегко. Но теперь, летом, больших танцевальных вечеров никто не устраивал, так что лейтенанты чувствовали себя отдохнувшими и готовы были отплясывать сутки напролет. Они говорили, что им редко случалось видеть сразу так много красивых девушек. Да и что это за праздник! Пригласить столько молодых лейтенантов и юных девиц и не позволять им танцевать друг с другом!

Но не только молодые томились без танцев. Дамы и господа постарше также сожалели, что не могут поглядеть, как танцует молодежь. Подумать только! Оркестр, равного которому нет во всем Вермланде! Великолепная танцевальная зала! Отчего же, помилуйте, нельзя покружиться в танце?

Эта Беата Экенстедт, при всей ее любезности, всегда была несколько себялюбива. Она, верно, полагает, что раз ей самой уже около пятидесяти и она не может танцевать, то, стало быть, из-за этого ее молодые гости также должны сидеть и подпирать стены.

Полковница все это видела и слышала и понимала, что гости ропщут, а для такой превосходной хозяйки, как она, привыкшей к тому, что на ее вечерах все веселились до упаду, это было невыразимо тяжким испытанием.

Она знала, что на другой день и много-много дней спустя люди станут рассказывать о свадьбе в доме Экенстедтов, и говорить, что такой отчаянной скуки им не приходилось испытывать ни на одном торжестве.

Она принялась занимать стариков. Она была необычайно любезна. Она рассказывала самые знаменитые свои истории, она прибегла к самым остроумным своим выдумкам, но ничего не помогало. Ее едва слушали. Среди гостей не нашлось ни одной даже самой старой и скучной дамы, которая не подумала бы про себя, что если бы ей когда-либо посчастливилось выдать замуж дочь, уж она-то позволила бы танцевать и молодым и старикам.

Полковница принялась занимать молодежь. Она предложила им поиграть в горелки в саду. Но они лишь устали на нее с недоумением. Играть в горелки на свадьбе! Не будь она Беатой Экенстедт, они рассмеялись бы ей прямо в лицо.

Когда настало время пустить фейерверк, кавалеры предложили дамам руку и отправились на прогулку по берегу реки. Но молодые пары еле-еле брели. Они едва поднимали взоры, чтобы взглянуть на взлетающие ракеты. Они не желали никакого возмещения за удовольствие, которого так жаждали.

Взошла полная луна – как бы для того, чтобы придать еще более торжественности этому великолепному зрелищу. В этот вечер она не походила на серп, но плыла по небу круглая, как шар; и некий острослов утверждал, что она округлилась от изумления при виде того, как множество статных лейтенантов и красивых подружек невесты стоят, глядя на воды реки так мрачно, словно их одолевают мысли о самоубийстве.

Пол-Карлстада собралось перед оградой сада Экенстедтов, чтобы поглядеть на торжество. Все видели, как молодые люди бродят по дорожкам сада, безучастные и вялые, и в один голос заявляли, что такой унылой свадьбы им никогда еще не доводилось видеть.

Оркестр Вермландского полка играл как нельзя лучше, но поскольку полковница запретила исполнять танцы, так как в этом случае она не надеялась совладать с молодежью, то в музыкальной программе было не так уж много номеров, и одни и те же вещи приходилось повторять сызнова.

Было бы неверно утверждать, что часы тянулись медленно. Нет, время просто-напросто остановилось. Минутные и часовые стрелки на всех часах двигались с одинаковой медлительностью.

На реке перед домом Экенстедтов стояло несколько больших грузовых барж, и на одной из них сидел какой-то моряк – любитель музыки и наигрывал деревенскую польку на визгливой самодельной скрипке.

Но все эти несчастные, томившиеся в саду Экенстедтов, просияли, потому что это была по крайней мере танцевальная музыка; они поспешно улизнули через ворота, и в следующее мгновение все увидели, как они отплясывают деревенскую польку на смолёной палубе речной баржи.

Полковница тотчас же заметила это бегство и поняла, что ни в коем случае не может допустить, чтобы девицы из самых благородных карлстадских семей танцевали на грязной барже. Она тотчас же послала за беглецами и велела им немедленно вернуться. Но хоть она и была полковница, ни один безусый лейтенантик даже и не подумал повиноваться ее приказу.

И тут полковница поняла, что игра проиграна. Она сделала все, что было в ее силах, чтобы угодить Карлу-Артуру. Теперь нужно было спасти престиж дома Экенстедтов. Она велела полковому оркестру перейти в залу и играть англес^[41].

Вскоре после этого она услышала, как жаждущие танцевать мчатся вверх по лестнице, и танцы начались! Это был бал, какого давно не видывали в Карлстаде. Все, кто изнывал и томился в ожидании танцев, пытались теперь наверстать упущенное время. Они кружились, порхали в пируэтах, вертелись и выделывали ногами замысловатые антраша. Никто не чувствовал усталости, никто не отказывался от приглашений. Не было ни одной самой скучной дурнушки, которая осталась бы без кавалера.

Старики – и те не смогли усидеть на месте, но поразительнее всего было то, что сама полковница – да, подумать только, сама полковница, которая покончила с танцами и карточной игрой и велела унести на чердак все светские книги, – и она не смогла усидеть на месте. Легко и весело порхала она в танце и казалась такой же молодой, нет, гораздо моложе своей дочери, которая в этот день стояла под венцом. Карлстадцы были поистине счастливы тем, что снова обрели свою жизнерадостную, свою очаровательную, свою обожаемую полковницу.

И веселье царило повсюду, и ночь была дивная, и река сияла в лунном свете, и все было как должно.

Лучшим доказательством того, сколь заразителен микроб радости, был, пожалуй, сам Карл-Артур, тоже захваченный общим весельем. Он вдруг перестал понимать, что дурного в том, чтобы двигаться в такт музыке вместе с другими беспечными молодыми людьми. Это ведь так естественно, что молодость, здоровье и жизнерадостность ищут выхода в танцах.

Он не танцевал бы, если бы, как прежде, чувствовал, что это грешно. Но нынче вечером танцы представлялись ему ребячески невинной забавой.

Но в ту минуту, когда Карл-Артур старательно выделял какую-то фигуру англеза, он случайно бросил взгляд на открытую дверь залы и увидел бледное лицо, обрамленное черными кудрями и бородой, и пару больших кротких глаз, взиравших на него с горестным изумлением.

Он остановился посреди танца. Сначала ему показалось, что он грезит наяву. Но затем он узнал своего друга Понтуса Фримана, который обещал навестить его проездом через Карлстад и явился именно в этот вечер.

Карл-Артур не сделал больше в танце ни единого шага; он поспешил навстречу прибывшему, который, не говоря ни слова, увлек его за собой вниз по лестнице на вольный воздух.

СВАТОВСТВО

Шагерстрём посватался! Богач Шагерстрём из Озерной Дачи.

Как? Возможно ли, чтобы Шагерстрём посватался? Право же, это так. Слух самый верный. Шагерстрём и впрямь посватался. Но, помилуйте, как же это вышло, что Шагерстрём посватался?

Видите ли, дело в том, что в Корсчюрке, в пасторской усадьбе, живет молодая девушка по имени Шарлотта Лёвеншёльд. Она доводится пастору дальней родственницей, взята в дом компаньонкой для пасторши и помолвлена с пастором-адьюнктом.

Да, но какое отношение имеет она к Шагерстрёму?

Так вот, Шарлотта Лёвеншёльд – девица веселая, живая, бойкая на язык, и едва она переступила порог пасторского дома, как в нем точно свежим ветром повеяло. Пастор и пасторша – люди престарелые, они бродили по дому точно тени, а Шарлотта вдохнула в них новую жизнь.

А пастор-адьюнкт был тонок, как нитка, и до того свят, что едва есть и пить осмеливался. Днем он исправлял свою должность, а ночами стоял на коленях перед кроватью и оплакивал свои грехи. Он чуть было совсем не уморил себя, но Шарлотта спасла его от неминуемой гибели.

Да, но какое отношение ко всему этому имеет...

Надобно вам знать, что пять лет назад, когда молодой пастор-адьюнкт появился в Корсчюрке, он только что вступил в духовное звание и был совершенно несведущ по этой части. Тут-то Шарлотта и стала помогать ему. Она всю жизнь прожила в пасторских домах и отлично разбиралась во всем, что касалось пасторских обязанностей. Она обучала Карла-Артура, как крестить детей и как говорить на молитвенных собраниях.

Между тем они влюбились друг в друга и теперь были помолвлены вот уже пять лет.

Но таким манером мы и вовсе далеко уйдем от Шагерстрёма...

Шарлотта Лёвеншёльд отличалась необыкновенным умением улаживать чужие дела. Сделавшись невестой молодого пастора, она вскоре проведала, что родители его недовольны тем, что он избрал духовную карьеру. Они желали, чтобы он получил степень магистра и смог определиться на должность профессора или доцента в университете. Он ведь целых пять лет провел в Упсале, готовясь держать экзамен на кандидата; на шестой год он должен был получить звание магистра, но неожиданно переменил свое намерение и вместо того выдержал экзамен на пастора. Родители его были богаты и несколько честолюбивы. Им пришлось не по вкусу, что сын их избрал столь скромное поприще. Даже после того как он сделался пастором, они просили и умоляли его продолжать занятия в Упсале, но он решительно воспротивился этому. Шарлотта понимала, что если он станет магистром, то у него появятся лучшие виды на будущее, и отослала его назад в Упсалу. А поскольку он был изрядным зубрилой, то и управился за четыре года. Он выдержал экзамен и получил степень магистра.

Но помилуйте, при чем тут Шагерстрём?..

Видите ли, Шарлотта рассудила, что, получив магистерскую степень, жених ее сможет занять должность учителя гимназии и получит достаточное жалованье, чтобы им можно было пожениться. А если уж он непременно захочет остаться в духовном звании, то сможет через несколько лет получить большой пасторат, как это было в обычае. Такой же путь прошли пастор Корсчюрки и многие другие. Но тут ее расчеты не оправдались, ибо жених предпочел остаться скромным сельским священником.

Вот так и вышло, что он возвратился в Корсчюрку пастором-адьюнктом. И хоть был он доктором философии, но получал жалованья не больше, чем простой конюх.

Да, но Шагерстрём...

Надо ли говорить, что Шарлотта Лёвеншёльд, которая ждала жениха целых пять лет, не могла удовлетвориться этим. И все же она была рада, что жених вернулся в Корсчюрку. Он жил тут же, в усадьбе, она встречалась с ним всякий день и, как видно, рассчитывала, что станет пилить его до тех пор, пока не принудит сделаться учителем гимназии так же, как она принудила его стать магистром.

Но мы покуда ни слова еще не слышали о Шагерстрёме!

Так вот, ни Шарлотта Лёвеншёльд, ни жених ее ни малейшего отношения к Шагерстрёму не имели. Он был человеком совсем иного круга. Сын высокопоставленного стокгольмского чиновника, он был богат сам и женился на дочери заводовладельца из Вермланда, наследнице столь многих заводов и рудников, что приданое ее исчислялось несколькими миллионами.

Первое время Шагерстрём жил в Стокгольме и лишь летние месяцы проводил на каком-либо из своих вермландских заводов, но когда жена его через несколько лет умерла родами, он переехал в Корсчюрку, в поместье Озерная Дача. Он очень горевал по жене и не мог жить там, где она когда-то бывала. Шагерстрём почти никому не делал визитов и, чтобы убить время, занялся управлением своих многочисленных заводов, а Озерную Дачу он перестроил и отделал с такой роскошью, что она стала поистине украшением Корсчюрки. Несмотря на то, что Шагерстрём был совершенно один, он держал множество прислуги и жил большим баринном. Шарлотта Лёвеншёльд знала, что так же, как ей не добыть звезд с неба для своего брачного венца, так и не бывать ей за Шагерстрёмом.

Надобно вам знать, что Шарлотта Лёвеншёльд из тех, кто говорит все, что взбредет на ум. И однажды, когда у пастора собралось много гостей, мимо усадьбы проехал Шагерстрём в своем большом открытом ландо, запряженном четверкою великолепных вороных, с ливрейным лакеем на козлах рядом с кучером. Само собой, все ринулись к окнам и провожали Шагерстрёма взглядом, пока он не скрылся из виду. Но едва он исчез из глаз, Шарлотта Лёвеншёльд, оборотясь к своему жениху, стоящему в глубине комнаты, сказала громко, так, что все могли слышать:

– Знай, Карл-Артур, что хоть я и люблю тебя, но посватайся ко мне Шагерстрём, я ему не откажу.

Гости, которые знали, что Шагерстрём никогда не посватается к ней, разразились хохотом. И жених посмеялся вместе со всеми, так как понимал, что Шарлотта сказала это, чтобы позабавить гостей. Хотя сама она была, казалось, немало смущена словами, невольно сорвавшимися с языка, но нельзя поручиться за то, что произнесла она их без всякой задней мысли. Ей, верно, хотелось слегка припугнуть милого Карла-Артура и заставить его подумать об учительской должности.

Ну а Шагерстрём, все еще погруженный в свою скорбь, и не помышлял о женитьбе. Но, вращаясь в деловых кругах, он приобрел множество друзей и знакомых, которые вскоре стали убеждать его подумать о новом браке. Он отговаривался тем, что человек он желчный и угрюмый и никто не захочет пойти за него, и не желал слушать уверений в обратном. Но однажды, когда речь об этом зашла на деловом обеде, где Шагерстрём вынужден был присутствовать, и когда он прибегнул к обычным своим отговоркам, один из его соседей из Корсчюрки рассказал ему о молодой девушке, которая объявила, что бросит своего жениха, если только Шагерстрём посватается к ней. Обед проходил весело, и все вдоволь посмеялись над этой историей, сочтя ее забавной шуткой, так же как и гости в пасторской усадьбе.

По правде говоря, Шагерстрём не раз уже думал о том, что ему трудно обходиться без жены, но он все еще любил умершую, и сама мысль о том, что другая женщина может занять ее место, была ему отвратительна.

До сих пор он имел в виду женитьбу на девушке своего круга, но рассказ о Шарлотте Лёвеншёльд придал его мыслям иное направление. Если бы он, скажем, вступил в брак не

по сердечному влечению, а по разумному расчету и женился бы на скромной, небогатой девушке, которая не могла бы посягать ни на место покойной жены в его сердце, ни на то высокое положение в свете, которое та занимала благодаря богатству и родственным связям, то новый брак был бы для него вполне приемлем. Он не был бы оскорбительным для памяти усопшей.

В следующее воскресенье Шагерстрём отправился в церковь и стал разглядывать молодую девушку, сидевшую рядом с пасторшей на пасторской скамье. Она была одета скромно и непритязательно и решительно ничем не выделялась. Но это не было помехой. Напротив. Будь она ослепительной красавицей, он и не подумал бы остановить на ней свой выбор. У покойной и мысли не должно возникнуть, что новая жена может хоть в чем-то быть ей заменой. Разглядывая Шарлотту, Шагерстрём спрашивал себя, что бы она ответила, если бы он и впрямь отправился в усадьбу пастора и предложил ей сделаться хозяйкой его поместья.

Она ведь никак не могла ожидать, что он попросит ее руки, но потому-то и было бы забавно поглядеть, какое у нее будет лицо, когда она увидит, что дело приняло серьезный оборот.

Возвращаясь из церкви, Шагерстрём думал о том, как выглядела бы Шарлотта, если одеть ее в дорогие и красивые платья. И вдруг он поймал себя на том, что мысль о новом браке представляется ему заманчивой. Ему показалось весьма романтичным неожиданно ошастливать бедную девушку, которой нечего ждать от жизни. А склонность ко всему романтическому всегда была свойственна его натуре. Но, заметив это, Шагерстрём тотчас же бросил думать об этом браке. Он отмахнулся от него как от соблазна. Он всегда убеждал себя, что разлучен с женой лишь на время, и хотел сохранять ей верность до тех пор, пока они не соединятся вновь. Следующей ночью Шагерстрём увидел свою умершую жену во сне и проснулся, полный прежней нежности к ней. Опасения, пробудившиеся в нем по пути из церкви, показались ему излишними. Его любовь жива, и нечего бояться, что скромная девушка, которую он намерен взять в жены, способна вытеснить из его души образ усопшей. Ему необходима дельная и умная хозяйка, которая скрасила бы его одиночество и вела бы его дом.

Среди его родни не было никого подходящего, а нанимать домоправительницу ему не хотелось. Он не видел иного выхода, кроме женитьбы.

В тот же день он выехал расфранченный из дома и направился в пасторскую усадьбу. Все эти годы он жил столь уединенно, что ни разу не был у пастора с визитом, и когда большое ландо с четверкою вороных въехало в ворота усадьбы, в доме поднялся переполох. Его тотчас же ввели в парадную гостиную на верхнем этаже, и здесь он некоторое время сидел, беседуя с пастором и пасторшей. Шарлотта Лёвеншёльд уединилась в своей комнате, но через некоторое время пасторша сама пришла к ней и попросила пойти в гостиную занять гостя. Приехал заводчик Шагерстрём, и ему скучно будет сидеть с двумя стариками.

Пасторша была в некоторой ажитации и в приподнятом настроении. Шарлотта в изумлении посмотрела на нее, но ни о чем не спросила. Она сняла с себя передник, окунула пальцы в воду, пригладила ими волосы и надела чистый воротничок. Затем она последовала за пасторшей, но с порога вернулась и снова надела передник.

Она вошла в гостиную и поздоровалась с Шагерстрёмом; ее пригласили сесть, и сразу же вслед за этим пастор произнес в честь ее небольшую речь. Он был весьма многословен и долго распространялся о радости и счастье, которые она принесла в его дом. Она была вместо дочери ему и его жене, и они ни за что не желали бы расстаться с ней. Но когда такой человек, как господин Густав Шагерстрём, хочет взять ее в жены, они не вправе думать о себе и советуют ей принять это предложение; лучшего она едва ли могла бы ожидать.

Пастор ни словом не обмолвился о том, что она уже обручена с его помощником. И он и пасторша всегда были против этой помолвки и от всего сердца желали, чтобы она расстроилась. Столь бедной девушке, как Шарлотта, не следует связывать свою судьбу с человеком, который решительно отказывается думать о приличном доходе. Шарлотта Лёвеншёльд выслушала все это, не сделав ни единого движения, и пастор, желая дать ей время приготовить подобающий ответ, произнес пышный панегирик Шагерстрёму, сообщив о его весьма высоких достоинствах: о его уме, добродетельном образе жизни и доброте к своим служащим.

Пастор слышал о нем столь много лестного, что хотя господин Шагерстрём впервые наносит ему визит, он давно уже считает его своим другом и рад будет передать в его руки судьбу своей молодой родственницы.

Шагерстрём все это время сидел, наблюдая за Шарлоттой, чтобы увидеть, какое впечатление произвело на нее его сватовство. Он заметил, что она выпрямилась и откинула голову. Затем на щеках ее выступила краска, глаза потемнели и сделались густо-синими, а верхняя губка приподнялась в несколько надменной усмешке. Шагерстрём был совершенно ошеломлен. Шарлотта, какую он видел ее теперь, была совершенная красавица, и притом красавица отнюдь не робкая и не покорная.

Его предложение, бесспорно, произвело на нее сильное впечатление, но была ли она рада ему, или нет – этого он понять не мог.

Впрочем, ему недолго пришлось оставаться в неведении. Едва только пастор окончил свою речь, как заговорила Шарлотта Лёвеншёльд.

– Не знаю, слышали ли вы, господин Шагерстрём, о том, что я помолвлена? – спросила она.

– Да, конечно, – начал Шагерстрём, но больше ничего не успел прибавить, потому что она продолжала:

– Как же в таком случае господин Шагерстрём осмелился явиться сюда и просить моей руки?

Именно так она и сказала. Она употребила слово «осмелился», хотя говорила с самым богатым человеком в Корсчюрке.

Она забыла о том, что она всего лишь бедная компаньонка, и чувствовала себя богатой и гордой фрёкен Лёвеншёльд.

Пастор и пасторша едва не свалились со стульев от изумления. Шагерстрём также выглядел обескураженным, но, будучи человеком светским, он знал, как вести себя в затруднительных положениях.

Он подошел к Шарлотте Лёвеншёльд, взял ее руку обеими руками и тепло пожал.

– Любезная фрёкен Лёвеншёльд, – сказал он, – ответ этот лишь еще более усилил расположение, которое я питаю к вашей особе.

Он отвесил поклон пастору и пасторше и жестом отклонил их попытки сказать что-либо и проводить его к экипажу. Как они, так и Шарлотта подивились тому достоинству, с которым отвергнутый жених покинул комнату.

Желания

Что могут значить человеческие желания? Если женщина и пальцем не пошевелинет, чтобы сблизиться с тем, по ком тоскует, а только втайне желает этого, толку от этого не будет.

Если женщина сознает, что она ничтожна, безобразна и бедна, и понимает, что тот, кого ей хотелось бы завоевать, никогда о ней и не вспоминает, то она может тешить себя желаниями сколько душе угодно.

Если она к тому же добродетельная супруга, которая питает известную склонность к пиетизму и ни за какие блага в мире не соблазнится ничем предосудительным, то желания ни на йоту не изменят ее положения.

Если же она вдобавок стара, если ей целых тридцать два года, а тот, кто занимает ее мысли, не старше двадцати девяти, если она неловка, робка и у нее нет никаких надежд на успех в обществе, если она всего лишь жена органиста, то пусть себе упивается желаниями хоть с утра до вечера. Греха в том не будет никакого, потому что это ни к чему привести не может.

Если даже ей кажется, что желания других – легкие весенние ветерки, а ее желания – могучие, сокрушающие ураганы, способные сдвигать горы и переворачивать землю, – все равно, она ведь знает, что все это не более чем игра воображения. В действительности желания не имеют силы ни в настоящем, ни в будущем.

Пусть будет довольна тем, что она живет в деревне, у самой проезжей дороги, и может видеть его почти всякий день проходящим мимо ее окон; что она может слышать его проповеди по воскресеньям; что ее иногда приглашают в пасторскую усадьбу, и она может находиться с ним в одной комнате, хотя робость мешает ей сказать ему хотя бы слово.

А ведь между ними существует некоторая связь. Он, быть может, даже не подозревает об этом, а она не решается ему сказать, но тем не менее это так.

Ведь ее мать – та самая Мальвина Спаак, которая была когда-то экономкой в Хедебю, у баронов Лёвеншёльдов, родителей его матери. Лет тридцати пяти Мальвина вышла замуж за мелкого арендатора и с той поры без устали трудилась и хлопотала в собственном доме, так же как некогда в чужих домах. Но она не порывала связи с Лёвеншёльдами, они навещали ее, а она подолгу гостила в Хедебю, помогая осенью печь хлебы, а весной делать уборку комнат. Это несколько скрашивало ее существование. Своей маленькой дочери Мальвина часто рассказывала о том времени, когда она служила в экономках у Лёвеншёльдов, о покойном генерале, призрак которого бродил по замку, и о молодом бароне Адриане, вознамерившемся помочь усопшему предку обрести покой в могиле.

Дочь понимала, что мать была влюблена в молодого барона. Это чувствовалось по тому, как она описывала его. До чего он был добр и до чего хорош собою! И какое мечтательное выражение было в его глазах, какая неизъяснимая прелесть в каждом его движении.

Когда Мальвина рассказывала о нем, дочь думала, что она преувеличивает. Юноши, подобного тому, какого она описывала, и на свете не бывало.

И тем не менее она увидела его. Вскоре после того как она вышла замуж за органиста и переехала в Корсчюрку, она однажды в воскресенье увидела его на церковной кафедре. Он был не бароном, а всего лишь пастором Экенстедтом, но доводился племянником тому барону Адриану, которого любила Мальвина Спаак. Он был так же хорош собою, так же юношески нежен, так же строен и изящен. Она узнала эти большие мечтательные глаза, о которых говорила мать, узнала эту кроткую улыбку.

При виде его ей почудилось, что это она силой своего желания вызвала его сюда. Ей всегда хотелось увидеть человека, который походил бы на образ, описанный матерью, и вот

теперь она увидела его. Она, разумеется, знала, что желания не обладают никакой силой, и все же его появление здесь показалось ей удивительным.

Он не обращал на нее ни малейшего внимания и к исходу лета обручился с этой горячкой Шарлоттой Лёвеншёльд. Осенью он вернулся в Упсалу для продолжения занятий. Она была убеждена, что он навсегда исчез из ее жизни. Он никогда не вернется, как бы сильно она этого ни желала.

Но спустя пять лет, однажды в воскресенье, она снова увидела его на церковной кафедре. И снова ей почудилось, что это она силой своего желания вызвала его сюда. Сам же он не давал ей ни малейшего повода так думать. Он по-прежнему не обращал на нее никакого внимания и все еще был помолвлен с Шарлоттой Лёвеншёльд.

Она никогда не желала зла Шарлотте. В этом она могла бы поклясться на Библии. Но иногда ей хотелось, чтобы Шарлотта влюбилась в кого-нибудь другого, или чтобы какие-нибудь богатые родственники пригласили ее в длительное путешествие за границу, так, чтобы она приятным и безболезненным способом была разлучена с молодым Экенстедтом.

Будучи женой органиста, она время от времени получала приглашения в дом пастора, и ей случилось находиться там в тот раз, когда мимо проехал Шагерстрём и Шарлотта сказала, что не откажет ему, если он к ней посватается.

С той самой минуты она страстно желала, чтобы Шагерстрём посватался к Шарлотте, и в этом не было ничего дурного. Ведь желания все равно ничего не значат.

Ибо если бы желания имели силу, все на свете было бы по-иному. Ведь чего только не желают люди! Как много хорошего желают они себе! Сколько людей желают избавиться себя от грехов и болезней! Сколько людей желают избежать смерти! Нет, она знает наверняка, что желать никому не возбраняется, потому что желания не имеют никакой силы.

Тем не менее однажды в воскресенье, погожим летним днем, она увидела, что Шагерстрём явился в церковь и выбрал место, откуда он мог хорошо видеть Шарлотту, сидевшую на пасторской скамье. И она пожелала, чтобы Шагерстрём нашел Шарлотту красивой и привлекательной. Она от всей души желала этого. Она не видела ничего дурного в том, что желает Шарлотте богатого мужа.

После того как она увидела Шагерстрёма в церкви, у нее весь день было предчувствие, что теперь следует ожидать каких-то событий. Всю ночь она провела, точно в лихорадке, думая о том, что же теперь будет. Это же чувство не покидало ее и все утро следующего дня. Она не в силах была ничем заняться, просто сидела сложа руки у окна и ждала.

Она предполагала, что увидит Шагерстрёма, проезжающего мимо ее окон, но случилось нечто еще более необыкновенное.

В конце утра, часов этак в одиннадцать-двенадцать, к ней с визитом явился Карл-Артур.

Надо ли говорить, что она была и поражена и обрадована, но в то же время совершенно потерялась от смущения.

Она не помнила, как поздоровалась с ним, как пригласила его войти. Но, как бы то ни было, вскоре он уже сидел в самом лучшем кресле ее маленькой гостиной, а она сидела напротив, не сводя с него глаз.

Ей ни разу еще не доводилось видеть его так близко, и она не представляла себе, что он выглядит таким юным. Она ведь была осведомлена обо всем, что касалось его семейства, и знала, что он родился в 1806 году и что, стало быть, ему теперь двадцать девять. Но никто не дал бы ему этих лет.

Он объяснил ей со свойственной ему пленительной простотой и серьезностью, что лишь недавно из письма матери узнал о том, что она дочь той самой Мальвины Спаак, которая была добрым другом и провидением для всех Лёвеншёльдов. Он сожалеет, что не знал этого прежде. Ей бы следовало рассказать ему об этом.

Она безмерно обрадовалась, узнав, отчего он до сих пор не удостоивал ее вниманием. Но она ничего не умела ни сказать, ни объяснить. Она лишь пробормотала несколько невразумительных слов, которых он, должно быть, даже не понял. Он взглянул на нее с некоторым изумлением. Должно быть, ему трудно было представить себе, что старая женщина способна от смущения лишиться дара речи.

Точно для того, чтобы дать ей время опомниться, он заговорил о Мальвине Спаак и о Хедебю. Он коснулся также истории о призраках и о роковом перстне.

Он сказал, что едва ли можно верить всем подробностям, но что, по его мнению, во всем этом скрыт глубокий смысл. В его глазах перстень является символом привязанности к земным благам, которая держит душу в плену, препятствуя ей войти в Царство Божье.

Вообразите только! Он сидит перед ней, он смотрит на нее со своей чарующей улыбкой, он беседует с нею просто и доверительно, словно со старым другом! Она едва не задохнулась от избытка счастья.

Он, должно быть, привык не получать ответа, когда приходил утешать и ободрять страждущих и бедняков; и потому продолжал говорить без устали.

Он поведал ей, что беспрестанно думает о словах Иисуса, обращенных к богатому юноше. Он убежден, что наипервейшая причина всех бед человеческих кроется в том, что люди возлюбили сотворенное Богом больше, нежели Творца.

Хотя она все еще не произносила ни слова, однако в том, как она его слушала, было, очевидно, нечто поощрявшее его к дальнейшей откровенности. Он признался, что не помышляет о высоком духовном сане. Ему не нужен большой приход с большим домом, большим земельным наделом, с толстыми церковными книгами. Со всем этим хлопот не оберешься. Он мечтает о маленьком приходе, где у него будет больше досуга, чтобы заботиться о спасении души. Жилищем его будет скромная хижина, но ему хочется, чтобы она находилась где-нибудь в живописном месте, на березовом пригорке, неподалеку от озера. А что до жалованья, то ему нужно лишь столько, чтобы прокормиться.

Она понимала, что таким образом он намерен указать людям верный путь к истинному счастью. Благоговейный восторг охватил ее душу. Никогда еще не встречала она человека столь юного и чистого. Ах, как все должны любить его!

Но тут же ей пришло в голову, что слова его противоречат тому, что она совсем недавно услышала в доме пастора, и она захотела рассеять свое недоумение. Она сказала, что, должно быть, ослышалась, но что когда она на днях была в пасторской усадьбе, невеста его говорила, будто он намерен искать места учителя гимназии.

Он вскочил со стула и принялся расхаживать взад и вперед по маленькой гостиной.

Шарлотта так сказала? Уверена ли она, что Шарлотта сказала именно это? Он спрашивал с такой горячностью, что она оробела, однако ответила со всей почтительностью, что, насколько ей помнится, Шарлотта сказала именно это.

Кровь бросилась ему в голову. Гнев с каждой минутой все сильнее разгорался в нем.

Она до того испугалась, что готова была упасть к его ногам и молить о прощении. Она и не подозревала, что эти слова, сказанные о Шарлотте, могут столь сильно задеть его. Что ей сказать, чтобы вернуть его доброе расположение? Как успокоить его?

Среди этого мучительного смятения она вдруг услышала цокот копыт и стук колес и по привычке взглянула в окно. Это проехал Шагерстрём, но она до такой степени занята была Карлом-Артуром, что даже не задалась вопросом, куда направляется богатый заводчик. А Карл-Артур и вовсе не заметил его. Он продолжал расхаживать по комнате в сильнейшем гневе.

Затем он приблизился к ней и протянул руку, чтобы проститься, и она была ужасно разочарована тем, что он покидает ее так скоро. Она готова была откусить себе язык за то, что с него сорвались слова, столь сильно уязвившие Карла-Артура.

Но делать было нечего. Ей не оставалось ничего иного, как протянуть руку и проститься с ним. Ей не оставалось ничего иного, как молча отпустить его.

Но тут, с горя, в глубоком отчаянии, она склонилась и поцеловала его руку.

Он поспешно отдернул руку и застыл на месте, с изумлением глядя на нее.

– Я хотела только попросить прощения, – пролепетала она.

Он заметил в ее глазах слезы и, смягчившись, счел нужным дать объяснение:

– Представьте себе, фру Сундлер, что вы по той или иной причине надели на глаза повязку, ничего не видите вокруг и дали вести себя другому человеку. Что бы вы почувствовали, если бы повязка вдруг упала с ваших глаз и вы увидели бы, что этот человек, ваш друг, ваш поводырь, которому вы доверяли более, чем себе, привел вас на край бездны, и стоило вам сделать всего лишь один шаг, как вы рухнули бы вниз? Разве не поднялся бы у вас в душе целый ад?

Он проговорил все это пылко и взволнованно и, не дожидаясь ответа, ринулся к двери.

Тее Сундлер показалось, что, выбежав на крыльцо, он вдруг остановился. Она не знала почему. Может, он вспомнил, каким радостным и беспечным полчаса назад входил в этот дом, который теперь покидал в гневе и отчаянии. Как бы то ни было, она поспешила выйти, чтобы убедиться, вправду ли он стоит на крыльце.

Едва завидев ее, он заговорил. Душевное волнение придало новое направление его мыслям, и он рад был появлению слушательницы.

– Я смотрю на эти розы, которыми вы украсили дорогу к вашему дому, любезная фру Сундлер, и спрашиваю себя, можно ли отрицать, что нынешнее лето – самое чудесное из всех, какие были на моей памяти. Нынче у нас конец июля, но разве не была бесподобной вся минувшая часть лета? Разве не стояли все это время долгие и ясные дни, гораздо более долгие и ясные, чем в прежние годы? Да, разумеется, жара была сильная, но она никогда не угнетала, потому что воздух большей частью охлаждался свежим ветерком. И земля не страдала от засухи, как это обычно бывает жарким летом, потому что почти каждую ночь в течение нескольких часов шел дождь. А как пышно разрослось все вокруг! Видели ли вы когда-либо деревья, отягченные такой массой листьев? Видели ли вы когда-либо клумбы, украшенные такими роскошными цветами? Ах, я готов утверждать, что никогда еще земляника не была столь сладкой, птичье пение – столь звонким, и люди – столь падкими до наслаждений, как нынче летом.

Он умолк на мгновение, чтобы перевести дух, но Тее Сундлер остерегалась проронить хотя бы слово, боясь помешать ему. Она вспомнила свою мать. Ей стало понятно, что чувствовала Мальвина Спаак, когда молодой барон отыскивал ее в поварне или в молочной и изливал перед нею душу.

Молодой пастор продолжал:

– По утрам, в пять часов, когда я поднимаю штору, я вижу вокруг лишь тучи да туман. Дождь барабанит в окно, хлещет из водосточной трубы, цветы и травы гнутся под его струями. Вся окрестность заполнена тучами, столь отягченными влагой, что кажется, будто они волочатся по земле. «Кончились погожие дни, – говорю я себе. – А может, это к лучшему».

Но хотя я почти убежден, что дождь зарядил на весь день, я не отхожу от окна и жду, что будет дальше. И вот ровно в пять минут шестого капли перестают барабанить в окно. Дождевые струи еще некоторое время хлещут из трубы, но вскоре затихают. Посреди небосвода, на том месте, где должно показаться солнце, в тучах открывается просвет, и целый сноп лучей стремительно низвергается на окутанную туманом землю. И тотчас же серая пелена дождя, висящая над холмами и на горизонте, превращается в голубоватую дымку. Капли медленно стекают с травинок на землю, и цветы поднимают робко поникшие головки. Наше маленькое озеро, кусочек которого виден из моего окна, до этой минуты казалось угрюмым и серым, но теперь оно вдруг начинает искриться, точно целая стая золотых рыб всплыла

на его поверхность. И, очарованный этой красотой, я распахиваю окно, всей грудью вдыхаю воздух, источающий свежесть и невиданно сладкое благоухание, и восклицаю: ах, Боже, мир, сотворенный тобою, чересчур прекрасен!

Молодой пастор умолк, чуть заметно улыбнулся и слегка пожал плечами. Он, вероятно, решил, что Тею Сундлер удивили его последние слова, и поторопился объяснить их.

– Да, – повторил он, – именно это я и хотел сказать. Я опасался, что дивное лето прельстит меня земными радостями. Много раз желал я, чтобы благодатная погода сменилась зноем и засухой, грозами с молнией и громом; я желал, чтобы наступили дождливые дни и студеные ночи, как это часто бывало в иные годы.

Тея Сундлер жадно впитывала в себя каждое его слово. К чему он ведет свою речь? Что он хочет сказать? Этого она не знала, но лишь иступленно желала, чтобы он не умолкал, чтобы она могла как можно дольше упиваться звуками его голоса, его красноречием, выразительной игрой его лица.

– Понимаете ли вы меня? – воскликнул он. – Но нет, природа, видно, не имеет над вами силы. Она не говорит с вами таинственным и властным языком. Она никогда не спрашивает вас, отчего не приемлете вы с благодарностью ее добрые дары, отчего не берете счастье, лежащее у вас под руками, отчего не обзаводитесь вы своим домом и не вступаете в брак с возлюбленной своего сердца, как это делают все живые создания в нынешнее благословенное лето.

Он снял шляпу и провел рукой по волосам.

– Это изумительное лето, – продолжал он, – оказалось в союзе с Шарлоттой. Видите ли, это всеобщее упоение, эта нега опьянили меня. Я бродил точно слепой. Шарлотта видела, как растет моя любовь, мое томление, мое желание соединиться с ней.

Ах, вы не знаете... Каждое утро в шесть часов я выхожу из флигеля, где я живу, и отправляюсь в пасторский дом пить кофе. В большой светлой столовой, в распахнутые окна которой струится свежий утренний воздух, меня встречает Шарлотта. Она весела и щебечет, как птичка. Мы пьем кофе совсем одни; ни пастора, ни пасторши с нами не бывает.

Вы, может быть, думаете, что Шарлотта пользуется случаем и заводит речь о нашем будущем? Вовсе нет. Она говорит со мною о моих больных, о моих бедняках, о тех мыслях в моей проповеди, которые особенно поразили ее. Она представляется мне совершенно такою, какова должна быть жена священника. Лишь иногда, в шутку, как бы мимоходом заговаривает она о должности учителя. День ото дня она становится мне все дороже. И когда я возвращаюсь к своему письменному столу, я не в состоянии работать. Я мечтаю о Шарлотте. Я уже описывал вам нынче тот образ жизни, какой хочу вести. И я мечтаю о том, что моя любовь поможет Шарлотте освободиться от мирских оков и она последует за мною в мою скромную хижину.

Услышав это его признание, Тея Сундлер не могла удержаться от восклицания.

– Да, разумеется, – сказал он. – Вы правы. Я был слеп. Шарлотта привела меня на край бездны. Она дождалась минуты слабости, чтобы вырвать у меня обещание занять место учителя. Она видела, как летняя нега все более побуждала меня к беспечности. Она была столь уверена в достижении своей цели, что хотела предупредить вас и всех других о том, что я намерен изменить свое жизненное поприще. Но Господь уберег меня.

Он сделал шаг к Тее Сундлер. Он, как видно, прочел в ее лице, что она упивается его словами, что она испытывает счастье и восторг. И, должно быть, мысль о том, что его порожденное страданием красноречие доставляет ей радость, вывела его из себя.

– Не думайте, однако, что я благодарен вам за то, что вы мне сказали! – выкрикнул он.

Тея Сундлер содрогнулась от ужаса. Он сжал кулаки и потряс ими перед ее лицом.

– Я не благодарю вас за то, что вы сняли повязку с моих глаз. Не радуйтесь тому, что вы сделали. Я ненавижу вас за то, что вы не дали мне низринуться в бездну. Я не желаю больше видеть вас!

Он повернулся к ней спиной и пробежал по тропинке мимо ее красивых роз к проселочной дороге. А Тея Сундлер вернулась в гостиную и, вне себя от горя упав на пол, заплакала навзрыд.

В пасторском саду

Если идти скорым шагом, каким шел Карл-Артур, то короткий путь от деревни до усадьбы мог занять не более пяти минут. Но за эти пять минут в сознании Карла-Артура родилось множество благородных и суровых слов, которые он намерен был высказать невесте при первой же встрече.

– Да, да! – бормотал он. – Час настал! Ничто не остановит меня. Сегодня между нами все должно решиться. Ей придется понять, что, как бы сильно я ни любил ее, ничто не принудит меня домогаться тех мирских благ, к которым ее влечет. Я должен служить Богу, у меня нет выбора. Я скорее вырву ее из своего сердца.

Он ощутил в себе гордую уверенность. Он чувствовал, что сегодня, как никогда прежде, подвластны ему слова, способные уничтожить, растрогать, убедить. Бурное волнение потрясло все его существо и распахнуло в его душе дверь, ведущую в сокровищницу, о существовании которой он доселе и не подозревал. Стены этой сокровищницы увешаны были пышными гроздьями и цветущими ветвями. И гроздья и ветви эти были слова, благородные, возвышенные, совершенные. Ему оставалось лишь войти и взять их. Все это принадлежало ему. Какое богатство! Какое неслыханное богатство!

Он громко рассмеялся. Прежде он с превеликим трудом сочинял свои проповеди, мучительно подбирая слова. А между тем в душе его был скрыт целый клад!

Что до Шарлотты, то с ней все будет иначе. По правде говоря, до сих пор она пыталась руководить им. Но теперь все изменится. Он будет говорить, она будет слушать. Он будет вести ее, она будет следовать за ним. Отныне она будет с таким же благоговением ловить каждое его слово, как эта бедняжка, жена органиста.

Ему предстоит борьба, но ничто не заставит его отступить.

– Я скорее вырву ее из своего сердца! – повторял он. – Я вырву ее из своего сердца!

Подходя к пасторской усадьбе, он увидел, как ворота ее открылись и элегантный экипаж, запряженный четверкою вороных, выехал со двора.

Он понял, что заводчик Шагерстрём был с визитом у пастора. Он вспомнил о словах, оброненных Шарлоттой на званом вечере в начале лета. Точно молния, поразила его мысль о том, что Шагерстрём приезжал в пасторскую усадьбу, чтобы сделать предложение его невесте.

Мысль была нелепая, но сердце его болезненно сжалось. Разве не окинул его богатый заводчик в высшей степени странным взглядом, когда экипаж сворачивал на проезжую дорогу? Разве не было в этом взгляде иронического любопытства и вместе с тем известной доли сочувствия?

Сомнений быть не могло. Он угадал. Но удар был слишком жесток. Сердце остановилось. В глазах потемнело. У него едва достало сил дотащить до калитки.

Шарлотта ответила согласием. Он лишится ее. Он умрет от отчаяния.

Сокрушенный горем, он вдруг увидел Шарлотту, которая вышла из дома и поспешно направилась к нему. Он видел краску на ее лице, блеск в ее глазах, торжествующую усмешку на губах. Она шла, чтобы сказать ему, что выходит замуж за самого богатого человека в Корсчюрке.

О, какое бесстыдство! Он топнул ногой и сжал кулаки.

– Не приближайся ко мне! – закричал он.

Она остановилась. Притворяется она, или изумление ее неподдельно?

– Что с тобой? – спокойно спросила она.

Он собрал все свои силы и выкрикнул:

– Тебе это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было. Зачем приезжал Шагерстрём?

Когда Шарлотта поняла, что он догадался о причине визита заводчика, она приблизилась к нему вплотную. Она подняла руку. Она готова была ударить его.

– Ах, вот как! Стало быть, и ты тоже думаешь, что ради горсти золота я способна изменить своему слову!

Затем она окинула его взглядом, полным презрения, повернулась к нему спиной и пошла прочь от него.

Из ее слов он понял, однако, что наихудшие его опасения не подтвердились. Сердце вновь застучало, силы вернулись к нему, и он смог пойти за нею следом.

– Но он все-таки сделал тебе предложение? – спросил он.

Она не удостоила его ответом. Вскинув голову и гордо выпрямившись, она продолжала удаляться от него. Но направилась она не к дому, а свернула на узкую тропинку за густым кустарником, ведущую в глубь сада.

Карл-Артур понял, что она вправе чувствовать себя оскорбленной. Если она отказала Шагерстрёму, то поступок ее достоин восхищения. Он попытался оправдаться:

– Посмотрела бы ты, с каким видом он проехал мимо меня. По нему нельзя было сказать, что он получил отказ.

Она лишь еще строптивее вскинула голову и ускорила шаг. Отвечать ей было незачем. Всем своим видом она как бы говорила: «Не подходи! Я хочу побыть здесь одна».

Но он, все яснее и яснее понимая всю самоотверженность ее поступка, не отставал от нее.

– Шарлотта! – сказал он. – Любимая Шарлотта!

Но слова эти не тронули ее. Она продолжала удаляться от него в глубь сада.

Ах, этот сад! Этот сад! Шарлотта не могла бы избрать места, более богатого воспоминаниями, дорогими для них обоих.

Сад был разбит на старинный французский манер, с перекрещивающимися дорожками, обсаженными по обочинам пышными кустами сирени высотой в человеческий рост. То тут, то там в этих зарослях открывались небольшие просветы, сквозь которые можно было проникнуть в маленькую, тесную беседку с простой дерновой скамьей или на подстриженную лужайку с одиноким розовым кустом. Сад не был обширен, он, быть может, даже не был особенно красив, но каким чудесным убежищем был он для тех, кто искал уединения.

И пока Карл-Артур шел за Шарлоттой, а она удалялась прочь от него, не устаивая его ни единым взглядом, в них обоих оживали воспоминания о тех счастливых часах, которые они провели здесь, когда она была его милой, о часах, которые, быть может, никогда больше не вернуться.

– Шарлотта! – снова произнес он страдальчески.

Должно быть, в голосе его было что-то заставившее ее прислушаться. Она не обернулась, но напряженность в осанке исчезла. Она остановилась и повернула голову так, что он почти мог видеть ее лицо.

В ту же секунду он очутился подле нее, прижал ее к себе и поцеловал.

Затем он увлек ее за собой в беседку с дерновой скамьей. Здесь он бросился перед ней на колени и стал бурно восторгаться ее верностью, ее любовью, ее мужеством.

Она, казалось, была удивлена его пылом, его восторженностью. Она слушала его почти с недоверием, и он понимал почему. Обычно он бывал с нею крайне сдержан. Она олицетворяла в его глазах мирские радости и соблазны, которых ему надлежало остерегаться.

Но в этот счастливейший час, когда он узнал, что ради него она отвергла соблазн огромного богатства, ему незачем было более обуздывать себя. Она стала рассказывать ему о сватовстве Шагерстрёма, но он едва слушал ее, то и дело прерывая ее рассказ поцелуями.

Когда она умолкла, он снова принялся целовать ее, а потом они сидели в полном молчании, обняв друг друга.

Куда же девались гордые и суровые слова, которые он намеревался высказать ей? Выветрились из головы, изгладились из памяти. Они не нужны были больше. Карл-Артур знал теперь, что его любимая не может быть ему опасна. Она не была рабой мамоны, как он того опасался. Ведь подумать только, какое огромное богатство отвергла она сегодня, дабы остаться ему верной!

Шарлотта покоилась в его объятиях, и легкая улыбка играла на ее губах. Она казалась счастливой, счастливее, чем когда-либо. О чем она думала? Может быть, в эти минуты она говорила себе, что ей не надо ничего, кроме его любви; быть может, она и думать бросила об этой должности учителя, которая едва не разлучила их.

Она молчала, но он как будто слышал ее мысли: «Будем же наконец вместе! Я не ставлю никаких условий; мне не нужно ничего, кроме твоей любви».

Но неужели он допустит, чтобы она превзошла его своим благородством? Нет, он доставит ей величайшую радость. Он шепнет ей, что теперь, когда он постиг ее душу, он наконец решился. Теперь он попытается обеспечить им обоим приличное содержание.

О, какое блаженное молчание! Слышала ли она то, что он произнес про себя? Слышала ли она обещание, которое он дал ей?

Он сделал над собою усилие, чтобы облечь свои мысли в слова.

– Ах, Шарлотта, – начал он, – смогу ли я когда-нибудь воздать тебе за то, что ты отвергла сегодня ради меня?

Она сидела, положив голову ему на плечо, и он не мог видеть ее лица.

– Милый друг мой, – услышал он ее ответ. – Мне незачем тревожиться. Я убеждена, что ты в полной мере вознаградишь меня за это.

«Вознаградишь?» Что понимает она под этим словом? Хочет ли она сказать, что не требует иной награды, кроме его любви? Или имеет в виду что-нибудь другое? Отчего она потупила взор? Отчего не смотрит ему в глаза? Неужто она полагает его столь незавидным женихом, что требует награды за свою верность? Он как-никак пастор, доктор философии, сын почтенных родителей. Он всегда стремился исполнять свой долг и вел беспорочную жизнь. Он начал уже добиваться признания как проповедник. Так неужто отказ от Шаггерстрёма и впрямь представляется ей столь великой жертвой?

Нет, нет, разумеется, ничего подобного она не думает. Ему не следует горячиться, он должен кротко и спокойно выведать ее мысли.

– Что ты разумеешь под вознаграждением? Я ведь решительно ничего не могу дать тебе.

Она еще теснее прижалась к нему и шепнула ему на ухо:

– Ты слишком принижаешь себя, друг мой. Ты мог бы стать настоятелем собора или даже епископом.

Он отпрянул от нее так стремительно, что она едва не упала.

– Так ты, стало быть, потому и отказала Шаггерстрёму? Ты надеешься, что я стану настоятелем собора или епископом?

Шарлотта взглянула на него ошеломленно, как человек, пробудившийся от грез. Да, разумеется, она грезила, она была в полудреме и во сне открыла самые сокровенные свои мысли. Она молчит. Неужто она думает, что этот вопрос может остаться без ответа?

– Я спрашиваю тебя: ты из-за этого отказала Шаггерстрёму? Ты надеешься, что я стану настоятелем или епископом?

Тут лицо ее вспыхнуло. Ага, кровь Лёвеншёльдов взыграла в ней! Но она все еще не удостоивала его ответом. Однако он должен получить ответ. Должен!

– Разве ты не слышишь? Я спрашиваю тебя: ты затем отказала Шагерстрёму, что надеешься, что я стану настоятелем собора или епископом?

Она вскинула голову, глаза ее сверкнули. Тонем глубочайшего презрения она бросила:
– Разумеется.

Он вскочил. Он не мог долее сидеть рядом с нею. Ответ ее причинил ему нестерпимую боль, но он не желал обнаруживать ее перед подобным созданием. Однако ему не хотелось бы впоследствии упрекать себя в горячности. Он сделал еще одну попытку кротко и ласково поговорить с этой заблудшей душой:

– Милая Шарлотта, я безмерно благодарен тебе за твое прямодушие. Теперь я понял, что положение в свете для тебя важнее всего. Беспорочная жизнь, стремление следовать по стопам учителя нашего Иисуса – все это не имеет в твоих глазах никакой цены.

Слова спокойные, дружелюбные. Он напряженно ждал ее ответа.

– Милый Карл-Артур, по-моему, я вполне способна оценить твои достоинства, хотя и не падаю перед тобой ниц, как дамы в нашем приходе.

Ответ ее показался ему явной дерзостью. Скрытая досада прорвалась наружу.

Шарлотта поднялась, чтобы уйти. Но он схватил ее за руку и удержал. Этот разговор должно довести до конца.

Слова Шарлотты о женщинах из прихода навели его на мысль о фру Сундлер. Он вспомнил ее рассказ, и гнев вспыхнул в нем с новой силой. Внутри у него все кипело.

Волнение отворило дверь в его душе, ведущую в сокровищницу, где гроздьями висели страстные, убедительные слова.

Он заговорил горячо и красноречиво. Он укорял ее в пристрастии к мирскому, в гордыне и тщеславии.

Но Шарлотта больше не слушала его.

– Как бы дурна я ни была, – мягко напомнила она, – я все-таки отказала сегодня Шагерстрёму.

Он содрогнулся перед ее бесстыдством.

– Боже, что это за женщина! – вскричал он. – Ведь только что она созналась, что отказала Шагерстрёму лишь оттого, что сочла более лестным быть замужем за епископом, нежели за владельцем завода.

Между тем в душе его зазвучал негромкий успокаивающий голос. Он призывал его поостеречься. Разве Карлу-Артуру неизвестно, что Шарлотта принадлежит к тому сорту людей, которые не снисходят до того, чтобы оправдываться? Она и не подумает разуверять того, кто дурно о ней судит.

Но Карл-Артур отмахнулся от этого негромкого успокаивающего голоса. Он не верил ему. Каждое произнесенное Шарлоттой слово обнаруживало все новые глубины ее низости. Вы послушайте только, что она говорит!

– Милый Карл-Артур, не принимай всерьез моих слов о том, что тебя ждет большое будущее. Это была всего-навсего шутка. Я, разумеется, не верю в то, что ты можешь стать настоятелем собора или епископом.

Он уже был достаточно оскорблен и взбешен, и теперь этот новый выпад окончательно заглушил успокаивающий голос в его душе.

Кровь зашумела у него в ушах. Руки задрожали. Эта несчастная лишила его самообладания. Она довела его до безумия.

Он сознавал, что мечется перед нею взад и вперед. Он сознавал, что голос его срывается на крик. Он сознавал, что размахивает руками и что подбородок у него дрожит. Но он и не делал попыток совладать с собою. Его отвращение к ней было неопишимо. Оно не могло быть выражено словами, оно должно было проявиться в жестах.

– Мне открылась теперь вся глубина твоей низости! – вскричал он. – Теперь я понял, какова ты. Никогда, никогда, никогда не женюсь я на такой, как ты! Это было бы моей погибелью!

– Кое в чем я все же была тебе полезна, – сказала она. – Ведь это меня ты должен благодарить за то, что стал магистром.

С той минуты, как она это произнесла, он почувствовал, что отвечает ей не по своей воле. Не то чтобы он не сознавал или не был согласен со своими словами, но они вырывались у него внезапно и неожиданно, будто кто-то другой вкладывал их ему в уста.

– Вот как! – воскликнул он. – Теперь она хочет напомнить мне, что ждала меня пять лет и что, следовательно, я обязан жениться на ней. Но это не поможет. Я женюсь лишь на той, кого сам Бог изберет для меня.

– Не говори о Боге! – произнесла она.

Карл-Артур запрокинул голову и обратил взгляд к небу, точно читая в нем ответ.

– Да, да, пусть Бог изберет мне невесту. Первая незамужняя женщина, которая повстречается мне на дороге, станет мне женой!

Шарлотта вскрикнула. Она подбежала к нему.

– Но, Карл-Артур, послушай, Карл-Артур! – сказала она и попыталась схватить его за руку.

– Прочь от меня! – закричал он.

Но она не понимала еще всей силы его гнева. Она обняла его.

Он вдруг услышал, как вопль омерзения вырвался из его груди. Он схватил ее за руки и швырнул на дерновую скамью.

Затем он помчался прочь и скрылся у нее из глаз.

Далекарлийка

[42]

Когда Карл-Артур впервые увидел пасторскую усадьбу в Корсчюрке, расположенную близ проезжей дороги, обсаженную высокими липами, окруженную зеленой оградой с внушительными столбами ворот и белой калиткой, между балясинами которой можно было разглядеть двор с круглой цветочной клумбой посередине, посыпанные гравием дорожки, продолговатый красный дом в два этажа, обращенный фасадом к дороге, и два одинаковых флигеля по обе его стороны, справа для пастора-адьюнкта, слева для арендатора, – он сказал себе, что именно так должна выглядеть усадьба шведского священника: приветливо, мирно и вместе с тем респектабельно.

И с той поры всякий раз, когда Карл-Артур окидывал взором свежестриженные газоны, тщательно ухоженные цветники с ровными, симметричными рядами цветов, нарядно подчищенные дорожки, заботливо подрезанный дикий виноград, вьющийся вокруг низкого крыльца, длинные шторы на окнах, ниспадающие красивыми ровными складками, – все это неизменно вызывало у него все то же впечатление благополучия и достоинства. Он чувствовал, что всякий, кто живет в такой усадьбе, непременно должен вести себя благообразно и мирно.

Никогда прежде не могло бы ему прийти в голову, что именно он, Карл-Артур Экенстедт, в шляпе, съехавшей набок, устремится однажды к белой калитке, беспорядочно размахивая руками и испуская короткие дикие возгласы. Затворив за собой калитку, он разразился безумным хохотом. Он, казалось, чувствовал, что дом и цветочные клумбы с изумлением смотрят ему вслед.

«Видели вы что-нибудь подобное? Что за странная фигура?» – шептались друг с другом цветы.

Удивлялись деревья, удивлялись газоны, удивлялась вся усадьба. Он, казалось, слышал, как они громко выражают свое удивление.

Может ли быть, чтобы?? внук?? очаровательной полковницы Экенстедт, самой просвещенной женщины в Вермланде, которая сочиняет шуточные стихи не хуже самой фру Леннгрэн, – может ли быть, чтобы он бежал из пасторского сада, точно из гнездилища зла и порока?

Может ли быть, чтобы тихий, благонравный, отрочески юный пастор-адьюнкт, который говорит столь прекрасные, цветистые проповеди, выбежал за ворота усадьбы с красными пятнами на щеках, с искаженным от возбуждения лицом?

Может ли быть, чтобы священнослужитель из пасторской усадьбы в Корсчюрке, где жилось не одно поколение благомыслящих и достойных служителей божьих, стоял за калиткой, в твердом намерении выйти на дорогу и посвататься к первой же встреченной им незамужней женщине?

Может ли быть, чтобы молодой Экенстедт, получивший столь тонченное воспитание и выросший среди людей благородных, готов был сделать своей женой, подругой всей своей жизни, первую встречную?

Да знает ли он, что ему может повстречаться сплетница или бездельница, дура безмозглая или скряга, Улла-грязнуля или Озе-оса?

Да знает ли он, что пускается в самый опасный путь в своей жизни?

Карл-Артур постоял несколько мгновений у калитки, прислушиваясь к изумленному шелесту, который прошел от дерева к дереву, от дветка к цветку.

Да, он знал, что путь этот опасен и чреват последствиями. Но он знал также, что нынешним летом возлюбил земную жизнь больше, нежели Бога. Он знал, что союз с Шар-

лоттой Лёвеншёльд был бы пагубен для его души, и хотел воздвигнуть между ею и собой стену, которую она никогда не смогла бы разрушить.

И он почувствовал, что в тот миг, когда он вырвал из своего сердца любовь к Шарлотте, оно снова открылось для любви к Богу. Он хотел показать Спасителю, что любит его превыше всего на свете и уповает на него беспредельно. Оттого-то и хотел он, чтобы Христос сам выбрал ему жену. Он хотел показать, сколь безмерно доверие, которое он питает к Богу.

Он стоял у калитки, глядя на дорогу, и не чувствовал страха, но он знал, что в эту минуту выказывает величайшее мужество, какое только доступно человеку. Он обнаруживал его тем, что всецело передал свою судьбу в руки Божьи.

Прежде чем отойти от калитки, он прочитал «Отче наш». И во время молитвы он почувствовал, как в нем все стихло. Он снова обрел спокойствие. Краска гнева сошла с его лица, подбородок больше не дрожал.

Однако, когда он зашагал по дороге к деревне – а он должен был это сделать, если желал повстречать людей, – опасения все еще мучили его.

Дойдя до конца пасторской усадьбы, он внезапно остановился. Жалкий, малодушный человек, живший в его душе, остановил его. Он вспомнил, что час назад, возвращаясь из деревни, повстречал на этом самом месте глухую нищенку Карин Юхансдоттер в изорванной шали, заплатанной юбке и с большой сумой на спине. Она, правда, когда-то была замужем, но теперь уже много лет вдовела и, стало быть, могла вступить в брак.

Мысль о том, что именно она может попасться ему навстречу, остановила его.

Но он посмеялся над жалким, малодушным грешником, жившим в его душе, который возмнил, будто способен отвратить его от задуманного, и продолжал свой путь.

Несколько секунд спустя за его спиной послышался стук экипажа. Сразу же вслед за тем мимо него проехала двуколка, запряженная великолепно рысаком.

В коляске сидел один из самых могущественных и надменных горнозаводчиков здешнего края, старик, который владел столь многими рудниками и заводами, что почитался таким же богачом, как Шагерстрём. Рядом с ним сидела его дочь, и если бы они ехали с другой стороны, молодой пастор, в согласии со своим обетом, принужден был бы сделать могущественному богачу знак остановиться, чтобы попросить руки его дочери.

Нелегко предвидеть, каков был бы исход этого сватовства. Вполне мыслимо, что он получил бы удар кнутом по лицу. Горнозаводчик Арон Монссон привык выдавать своих дочерей за графов и баронов, а не за бедных пасторов.

И снова ощутил страх тот, прежний, грешный и малодушный человек, живший в его душе. Он убеждал его повернуть назад, он говорил, что затея слишком рискованная.

Но вновь рожденный мужественный человек Божий, который теперь также жил в нем, возвысил свой ликующий голос. Он был рад тому, что путь этот опасен. Он был рад, что может показать, сколь велики его вера и упование.

Справа от дороги высился довольно крутой песчаный бугор, склоны которого поросли молодыми сосенками, низкорослыми березами и кустами черемухи. Среди густых зарослей кто-то разгуливал, напевая песню. Карл-Артур не мог видеть поющего, но голос был ему хорошо знаком. Он принадлежал беспутной дочери содержателя постоянного двора, которая вешалась на шею всем парням подряд. Она была совсем близко от него. В любую минуту ей могло взбрести в голову свернуть на проезжую дорогу.

Невольно Карл-Артур постарался идти потише, чтобы шаги его не были слышны поющей девушке. Он даже оглядывался по сторонам, ища какой-либо возможности избежать встречи.

По другую сторону дороги раскинулся луг, и на нем паслось стадо коров. Но коровы были не одни, их доила женщина, которую он также узнал. Это была рослая, как мужик,

скотница пасторского арендатора, у которой было трое пригульных детей. Все его существо содрогнулось от ужаса, но, шепча молитву, он продолжал свой путь.

Дочка содержателя постоянного двора напевала в рожице, а рослая скотница кончила доить коров и собралась идти домой. Но ни та ни другая не вышли на дорогу. Он не встретил их, хотя видел и слышал их.

Жалкий, грешный человек в его душе приступил к нему с новой выдумкой. Он говорил, что Бог, верно, показал ему этих двух гулящих женщин не для того, чтобы испытать его веру и мужество, а для того, чтобы предостеречь его. Может, он хотел показать ему все безрассудство и дерзость его поступка.

Но Карл-Артур заглушил в своей душе голос этого колеблющегося, слабого грешника и продолжал идти вперед. Неужто он свернет с дороги из-за такой малости? Неужто он доверяет собственному малодушию больше, нежели всемогущему Богу?

Наконец на дороге показалась женщина, которая шла прямо ему навстречу. Разминуться с ней он не мог.

Хотя она находилась еще довольно далеко от него, он разглядел, что это Элин Матсаторпаря, у которой было багровое родимое пятно через всю щеку. На мгновение он замер на месте. Мало того, что бедняжка была устрашающе безобразна. Она была, можно сказать, беднее всех в приходе, без отца и матери и с десятью беспомощными братишками и сестренками.

Он бывал в их убогой хижине, полной оборванных, грязных ребятишек, которых сестра тщетно пыталась накормить и одеть.

Он почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу, но, сжав руки, продолжал свой путь.

– Все это ради нее. Ради того, чтобы я мог помочь ей, – бормотал он.

Они быстро приближались друг к другу.

Он обрекал себя на истинное мученичество, но не хотел ни от чего уклоняться на этом пути. К этой бедной девушке он не питал того отвращения, какое вызывали в нем скотница и дочка содержателя постоянного двора. О ней он слышал только хорошее.

Меж ними оставалось уже не более двух шагов, но тут она свернула с дороги. Кто-то окликнул ее из лесной чащи, и она быстро исчезла в зарослях кустарника.

Лишь когда Элин Матсаторпаря вышла, таким образом, из игры, он почувствовал, какая невероятная тяжесть спала у него с плеч. Окрыленный, он зашагал вперед с высоко поднятой головой и преисполненный гордости, точно ему удалось пройти по воде и тем доказать силу своей веры.

– Бог со мной, – произнес он. – Он сопровождает меня на этом пути, он простер надо мною свою десницу.

Эта уверенность возвысила его и наполнила блаженством.

«Скоро появится настоящая, – подумал он. – Бог испытывал меня и увидел, что я не шучу. Я не уклонюсь с пути. Моя избранница уже близко».

Минуту спустя он миновал короткий отрезок дороги, отделяющей пасторскую усадьбу от деревни, и собрался уже свернуть на деревенскую улицу, как вдруг дверь одного из домов отворилась и из него вышла молодая девушка. Она миновала небольшой палисадник, который был разбит перед этим домом, так же как перед всеми другими жилищами в деревне, и вышла на дорогу прямо навстречу Карлу-Артуру.

Она появилась так внезапно, что, когда он заметил ее, между ними оставалось не более нескольких шагов. Он остановился как вкопанный и подумал: «Вот она! Не говорил ли я? Я чувствовал, что она вот-вот выйдет мне навстречу».

Затем он сложил руки и возблагодарил Бога за его великую и всеблагую милость.

Девушка, повстречавшаяся ему, была не из местных. Она жила в одном из северных приходов Далекарлии и занималась торговлей вразнос. По обычаю своего края, она была одета в красное и зеленое, в белое и черное, и в Корсчюрке, где старинная народная одежда давно уже вышла из обихода, она выделялась ярким цветком. Впрочем, сама она была еще краше, чем ее одежда. Волосы ее вились вокруг красивого и довольно высокого лба, и черты лица отличались благородством. Но наибольшее впечатление производили ее глубокие печальные глаза и густые черные брови. Нельзя было не признать, что они до того хороши, что могли бы украсить какое угодно лицо. Вдобавок она была высокая и статная, не слишком тонка, но хорошо сложена. В том, что она девушка крепкая и здоровая, можно было убедиться с первого взгляда. Она несла на спине большой черный кожаный мешок, полный товара, но, несмотря на это, шла не сгибаясь и двигалась так легко, будто вовсе не ощущала никакой тяжести.

Что до Карла-Артура, то он был прямо-таки ослеплен. Он говорил себе, что это само лето вышло ему навстречу. То самое жаркое, цветущее, яркое лето, какое выдалось в нынешнем году.

Если бы он мог изобразить его на картине, оно выглядело бы именно так.

Впрочем, если это и было лето, то не такое, которого следовало опасаться. Напротив. Сам Бог пожелал, чтобы он привлек его к своему сердцу и радовался его красоте.

Опасаться ему было нечего. Эта его невеста, хоть она была и красивой и статной, явилась из отдаленной горной местности, из нищеты и убожества. Ей неведомы соблазны богатства и привязанность к земным благам, которые побуждают жителей долины забывать Творца ради сотворенного им. Она, эта дочь нищеты, не колеблясь соединит свою судьбу с человеком, который хотел бы остаться на всю жизнь бедняком. Поистине неизреченна мудрость Божья. Бог знал, что ему требуется. Одним лишь мановением руки он поставил на его пути женщину, которая была ему под пару больше всякой другой.

Молодой пастор был так поглощен своими мыслями, что не делал ни единого движения, чтобы приблизиться к красивой далекарлийке. Она же, заметив, что он пожирает ее взглядом, невольно рассмеялась:

– Ты уставился на меня, будто повстречал медведя.

И Карл-Артур тоже рассмеялся. Удивительно, до чего легко вдруг стало у него на сердце.

– Нет, – ответил он. – Совсем не медведя думал я повстречать.

– Тогда, верно, лесовицу. Сказывают, как завидит ее человек, так до того одуреет, что и с места стронуться не может.

Она рассмеялась, обнажив ряд прекрасных, сверкающих зубов, и хотела пройти мимо. Но он поспешно остановил ее:

– Не уходи! Мне надо потолковать с тобой. Сядем здесь, у дороги!

Она удивленно поглядела на него, но подумала, что он, верно, хочет купить у нее кой-какие товары.

– Не развязывать же мне мешок посередине дороги!

Но тут лицо ее озарила догадка:

– Да ты никак здешний пастор! То-то я гляжу, будто видела тебя вчера в церкви; ты там проповедь говорил.

Карл-Артур безмерно обрадовался тому, что она слышала его проповедь и знала, кто он такой.

– Да, разумеется, это я говорил проповедь. Но я, видишь ли, всего-навсего помощник пастора.

– Так ведь живешь-то ты все одно в пасторской усадьбе? Я в аккурат туда иду. Приходи на кухню и покупай хоть весь мешок разом.

Она надеялась, что теперь-то он пойдет восвояси, но он не двигался с места, преграждая ей дорогу.

– Я не собираюсь покупать твой товар, – сказал он. – Я хочу спросить тебя, не пойдешь ли за меня замуж.

Он выговорил эти слова напряженным голосом. Он чувствовал сильное волнение. Ему казалось, что весь окружающий мир – птицы, шелестящая листва деревьев, пасущееся стадо – сознает всю торжественность происходящего и все вокруг затихло в ожидании ответа молодой девушки.

Она быстро обернулась к нему, словно желая удостовериться, что он не шутит, но, впрочем, оставалась вполне равнодушной.

– Мы можем встретиться тут, на дороге, ввечеру, в десятом часу, – сказала она. – А теперь мне недосуг.

Она направилась к пасторской усадьбе, и он не удерживал ее долее. Он знал, что она вернется, и знал, что она ответит согласием. Разве не была она невестой, избранной для него Богом?

Сам он не расположен был возвращаться домой и садиться за работу. Он свернул к пригорку, который огибала проселочная дорога. Забравшись поглубже в заросли, чтобы никто не мог его увидеть, он бросился на землю.

Какое счастье! Какое неслыханное счастье! Каких опасностей он избежал! Сколько чудес произошло сегодня!

Он разом покончил со всеми своими затруднениями. Шарлотта Лёвеншёльд никогда не сможет сделать его рабом мамоны. Отныне он будет жить согласно своим склонностям. Простая, бедная крестьянка, жена не станет препятствовать ему идти по стопам Иисуса. Ему представлялась маленькая, скромная хижина. Ему представлялась тихая, благостная жизнь. Ему представлялась полная гармония между его учением и его образом жизни.

Карл-Артур долго лежал, устремив взгляд на переплетение ветвей, сквозь которые пытались проникнуть солнечные лучи. Он чувствовал, как новая, счастливая любовь, подобно этим лучам, пытается проникнуть в его наболевшее, истерзанное сердце.

Утренний кофе

I

Есть некая особа, в чьей власти было бы все уладить, если бы только она захотела. Но не слишком ли многого требуем мы от той, которая из года в год питала свое сердце одними лишь желаниями?

Ибо то, что желания человеческие могут влиять на миропорядок, доказать трудно. Но в том, что человек может совладать с собою, обуздать свою волю и усыпить совесть, никто сомневаться не станет.

Весь понедельник фру Сундлер казнилась тем, что своими необдуманными словами о Шарлотте отпугнула от себя Карла-Артура. Подумать только, он был здесь, под ее крышей, он говорил с ней столь доверительно, он был таким милым, каким она не представляла себе его в самых пылких мечтах, а она по своему недомыслию больно уязвила его, и он сказал, что не желает ее больше видеть.

Она злилась на себя и на весь мир, и когда ее муж, органист Сундлер, попросил ее пойти с ним в церковь и спеть несколько псалмов, как они обычно делали летними вечерами, она отказала ему столь резко, что бедняга бросился вон из дома и нашел прибежище в трактире постоялого двора.

Это еще больше удручало ее, потому что она хотела бы быть безупречной и в глазах окружающих и в своих собственных глазах. Она ведь знала, что органист Сундлер женился на ней только потому, что был без ума от ее голоса и желал всякий день слушать ее пение. И она всегда честно платила долг, ибо помнила, что лишь благодаря ему у нее был теперь собственный уютный домик, и она избавлена была от участи бедной гувернантки, вынужденной зарабатывать себе на пропитание. Но сегодня она не в силах была выполнить его просьбу. Если бы нынче вечером ее голос зазвучал в Божьем храме, то с уст ее слетали бы не благолепные и кроткие слова, но стенания и богохульства.

Впрочем, к ее великой и неопикуемой радости, вечером, часу в девятом, Карл-Артур снова явился к ней. Он вошел весело и непринужденно и спросил, не даст ли она ему поужинать. На лице ее, должно быть, отразилось удивление, и тогда он объяснил, что весь день спал в лесу. Он, должно быть, был крайне утомлен, потому что проспал не только обед, но и ужин, который в пасторской усадьбе подается на стол ровно в восемь. Быть может, в доме фру Сундлер найдется немного хлеба и масла, чтобы он мог утолить ужасный голод?

Фру Сундлер недаром была дочерью такой превосходной хозяйки, как Мальвина Спаак. Никто не мог бы сказать, что у нее в доме нет порядка. Она тотчас же принесла из кладовой не только хлеб и масло, но также яйца, ветчину и молоко.

От радости, что Карл-Артур возвратился и попросил у нее помощи как у старинного друга его семейства, она вновь воспрянула духом и решилась заговорить о том, сколь глубоко удручена она тем, что высказала ему нынче нечто порочащее Шарлотту. Уж не подумал ли он, будто она хочет посеять рознь между ним и его невестой? Нет, она, разумеется, понимает, что поприще учителя также весьма благородное призвание, но ничего не может с собою поделаться. Она всякий день молит Бога о том, чтобы магистр Экенстедт остался пастором в их деревне. Ведь в здешнем захолустье так редко выпадает случай послушать настоящего проповедника.

Разумеется, Карл-Артур ответил ей, что если кому и следует просить прощения, то скорее ему самому. Да ей и незачем раскаиваться в своих словах. Он знает теперь, что само Провидение вложило их в ее уста. Они пошли ему на пользу, они послужили его прозрению.

Слово за слово, и Карл-Артур рассказал ей обо всем, что с ним произошло после того, как они расстались.

Он был так упоен счастьем и так полон восхищения великим милосердием Божьим, что ему невмозгалу было молчать. Он должен был рассказать обо всем хоть одной живой душе. Какое счастье, что эта Тея Сундлер, которая еще раньше через свою мать была посвящена во все обстоятельства их семейства, вдруг оказалась на его пути.

Но, услышав о расторгнутой помолвке и о новом сватовстве, фру Сундлер должна была понять, что все это может обернуться большой бедой. Она должна была бы понять, что Шарлотта лишь с досады и из упрямства отвечала утвердительно на вопрос жениха о ее пристрастии к епископскому сану. Она должна была бы понять, что этот союз с далекарлийкой еще не столь прочен и его можно было бы расстроить.

Но если вы долгие годы мечтали о том, чтобы каким-нибудь образом сблизиться с пленительным юношей, стать его другом и наперсницей – нет, нет, упаси боже, никем другим, – то достанет ли у вас духу говорить с ним рассудительно, когда он впервые открывает вам свое сердце?

Можно ли было требовать от Теи Сундлер чего-нибудь иного, кроме глубочайшего восхищения, сочувствия и признания, что решение Карла-Артура выйти на проезжую дорогу в поисках невесты было поистине героическим!

Можно ли было требовать, чтобы она попыталась обелить Шарлотту? Чтобы она, к примеру, напомнила ему о том, что у Шарлотты, которая превосходно умеет улаживать чужие дела, никогда не хватало ума позаботиться о своих интересах? Нет, этого от нее едва ли можно было ожидать.

Может статься, Карл-Артур отнюдь не был столь уверен в себе, как хотел показать. Несколько отрезвляющих слов было бы довольно, чтобы поколебать его. Откровенно высказанное опасение, быть может, побудило бы его отказаться от этой новой помолвки. Но фру Сундлер не сделала ничего, чтобы поколебать или предостеречь Карла-Артура, она сочла всю эту историю восхитительной.

Вообразите только, он всецело поручил себя Богу! Вообразите только, он вырвал возлюбленную из своего сердца, чтобы ничто не препятствовало ему идти по стопам Христа!

И кто знает? Быть может, фру Сундлер была вполне искренней? Она была романтиком с головы до ног, на столе у нее в гостиной всегда можно было увидеть книги Альмквиста^[43] и Стагнелиуса^[44]. А теперь, наконец, такое необыкновенное приключение! Наконец в ее жизни появился кто-то, кого она могла боготворить.

Лишь одно обстоятельство смущало фру Сундлер в рассказе Карла-Артура. Чем объяснить, что Шарлотта отказала Шагерстрёму? Коль скоро она так падка до мирских благ, как утверждает Карл-Артур, а этого фру Сундлер отнюдь не желала оспаривать, то зачем она тогда отказала Шагерстрёму? Какая выгода была ей отказывать Шагерстрёму?

И вдруг фру Сундлер осенила догадка. Она поняла Шарлотту. Та вела большую игру, но Тея Сундлер раскусила ее.

Шарлотта тотчас же раскаялась в том, что отказала Шагерстрёму, и пожелала стать свободной для того, чтобы впоследствии дать богатому заводовладельцу иной ответ.

Оттого-то она и затеяла ссору с Карлом-Артуром и до такой степени вывела его из себя, что он сам порвал с ней. Вот в чем разгадка. Только так и можно было все это объяснить.

Своей догадкой фру Сундлер поделилась с Карлом-Артуром, но он отказался ей верить. Она объясняла ему и доказывала, а он все не хотел верить этому. Но и она не сдавалась и даже осмелилась возражать ему.

Когда часы пробили десять и подошло время свидания с далекарлийкой, они все еще продолжали спор. Фру Сундлер преуспела лишь в том, что, может быть, вселила некоторые сомнения в Карла-Артура. Сама же она оставалась тверда в своем убеждении. Она клялась

и божилась, что на следующий день, или по крайней мере в один из ближайших дней, Шарлотта обручится с Шагерстрёмом.

Да, вот как все обернулось. Тея Сундлер ничего не уладила; напротив, она вновь разожгла гнев в душе Карла-Артура. Впрочем, ничего иного от нее, пожалуй, и ожидать не следовало.

Но есть ведь и другая женщина, та, которая хотела бы помочь Карлу-Артуру, которая хотела бы все уладить, – есть ведь Шарлотта! Да, разумеется, но что она может сделать именно теперь, когда Карл-Артур вырвал ее из своего сердца, точно сорную траву? Она встала между ним и его Богом. Она больше не существует для него.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Карл XII (1682–1718) – шведский король (1697–1718). События, о которых упоминается далее, связаны с тем периодом его царствования, когда Швеция вела против Дании, Польши, Саксонии и России Северную войну (1700–1721) за господствующее положение на берегах Балтийского моря. Первый период войны складывался для Швеции удачно, однако военный поход Карла XII в Россию закончился полным разгромом шведской армии под Полтавой (1709). По словам Ф. Энгельса, после поражения в России Швеция утратила свое экономическое и политическое могущество и была низведена на положение второстепенной державы. Возвратившись на родину, Карл XII предпринял военный поход в Норвегию (1716–1718), где и погиб у стен норвежской крепости Фредрикстен.

2.

...он и в риксдаге бы заседал. – Риксдаг возник в Швеции в 1617 г. и до 1867 г. являлся собранием представителей всех сословий, выполнявшим роль совещательного органа при короле. Риксдаг в современном значении – шведский парламент.

3.

...что под началом короля Карла XII проложили ему путь в Польшу и Россию. – Военный поход Карла XII в Польшу начался в январе 1702 г. Нанеся ряд поражений польским войскам, захватив Краков и Варшаву, Карл XII добился низложения польского короля Августа, выхода Польши из антишведской коалиции и подписания мирного договора в Варшаве (18 ноября 1705 г.). Вторгшись затем в Саксонию и принудив ее к выходу из войны (Альтранштадтский мир 1706 г.), Карл XII предпринял военный поход в Россию (август 1707 г.). Рассчитывая на помощь своего тайного союзника, украинского гетмана Мазепы, Карл XII повел свою армию через Украину, но здесь встретил решительный отпор со стороны русских войск. Первое поражение шведской армии было нанесено в битве при Лесной (28 сентября 1708 г.), а затем она была полностью разгромлена в Полтавском сражении (27 июня 1709 г.). После бегства Карла XII в Турцию остатки его войска окончательно капитулировали 1 июля 1709 г. Ф. Энгельс отмечал, что своей попыткой завоевания России Карл XII погубил Швецию и показал всем неуязвимость России.

4.

Ведь немало довелось ему выслушать злых наветов на своего повелителя! – После поражения шведской армии в России в разоренной войной Швеции возникла оппозиция, возглавляемая служилым дворянством и поддерживаемая другими сословиями, недовольными все растущим бременем налогов и повинностей, упорным стремлением короля продолжать войну. Его считали виновником всех бед, обрушившихся на Швецию. Вместе с тем среди части шведского населения бытовало идеализированное представление о Карле XII как о великом полководце и герое. Это двойственное отношение к Карлу XII нашло свое отражение и на страницах романа С. Лагерлёф.

5.

...все украшения и сосуды из благородного металла надлежало... сдавать в казну... приходилось бороться с Гёртцовыми далерами и с государственным банкротством... – Карл XII, возвратившись в Швецию после четырнадцатилетнего отсутствия (1715), застал страну в состоянии полного экономического краха, но, несмотря на это, решил собрать средства для продолжения войны. Натолкнувшись на сопротивление Государственного совета и риксдага, он отстранил их от управления государством и передал всю полноту власти в руки

гольштейн-готторпского министра Гёртца (1668–1719), который провел ряд экономических мероприятий с целью выколачивания из населения средств для новых военных замыслов короля. В числе этих мероприятий были конфискация ценностей, а также выпуск обесцененных, так называемых фальшивых денег, прозванных в народе «Гёртцовыми далерами». Период владычества ненавистного чужеземного министра считается одним из самых мрачных эпизодов шведской истории и известен под именем «Гёртцова времени».

6.

Шеффель – старинная шведская мера емкости для твердых и сыпучих тел, равная 20,9 литра.

7.

Лошадь-мертвяк. – В Швеции существует предание о лошади, которая когда-то была погребена на кладбище вместо человека. Согласно поверью, дух ее, на трех ногах и без головы, бродит по ночам на кладбище, предвещая гибель всякому, кто его увидит, так как именно эта лошадь перевозит людей после смерти в царство мертвых.

8.

...стоило бы подумать о том, как разорена страна, сколько потеряно из завоеванных земель... все королевство окружено врагами. – В последний период войны страны – участницы Северного Союза (Дания, Польша, Россия) усилили военные действия против Швеции. Король Август вернул себе польский престол, и шведские войска были изгнаны из пределов Польши. Датские войска вторглись в южную Швецию. Россия заняла Финляндию, Эстляндию, Лифляндию, Аландские острова.

9.

Он был солдатским королем и привык к тому, что солдаты охотно шли за него на смерть. – Карл XII был весьма популярен среди солдат своего войска, которым импонировали его личные качества – храбрость, самообладание, сила воли.

10.

Сэттер – небольшое поселение типа хутора на удаленных от жилья лесных пастбищах, обычно состоящее из нескольких деревянных построек.

11.

Пастор-адъюнкт – второй священник, назначаемый в помощь пастору в некоторых приходах.

12.

Ленсман – должностное лицо, представитель королевской власти на местах.

13.

...лишь только мы замирились с русскими... – 30 августа 1721 г. был заключен мирный договор между Россией и Швецией (Ништадтский мир), согласно которому к России отошли Ингерманландия, Лифляндия, Эстляндия, Выборг и юго-западная Карелия.

14.

...ревностно участвовал в риксдаговских распрях... как сторонник партии приверженцев мира. – В 1713 г., вопреки запрещению Карла XII, был созван риксдаг, на котором развернулись дебаты по поводу дальнейшего политического курса страны. Большинство членов риксдага решительно потребовали немедленного заключения мира.

15.

Гатенйельм – Ларс (Лассе) Андерссон Гате (1689–1718), известный шведский моряк. Родился в крестьянской семье, плавал на шведских и иностранных торговых судах. Во время Северной войны снарядил каперскую флотилию (см. ниже). Нажил огромное состояние и частично субсидировал королевскую казну. В 1715 г. был удостоен дворянского титула, после чего стал называться Гатенйельмом. Возвышение его было неодобрительно встречено шведской аристократией, так как его подозревали в связях с пиратами. Погиб в морском сражении при Гётеборге.

16.

Капер – владелец судна или флотилии, занимающийся в период войны морским разбоем в нейтральных водах. В отличие от пиратов, каперы нападали лишь на суда противника с ведома своего правительства, получая на это специальную грамоту. Каперство существовало в Европе до середины XIX в.

17.

...в онсальской церкви... – Церковь в приходе Онсала, где находилась усадьба Гата, принадлежавшая родителям Гатенйельма.

18.

...в мраморном саркофаге, который он похитил у датского короля. – Неточное изложение исторического факта. В действительности Гатенйельм обнаружил на одном из захваченных им датских судов два мраморных саркофага, предназначенных для датского короля Фредерика IV и его супруги. Датчане предложили за них большой выкуп, но Гатенйельм заявил, что намерен оставить их для себя и своей жены. Тогда по приказанию датского правительства были изготовлены два точно таких же саркофага с именем и гербом Гатенйельмов, и шведский капер согласился взять их в обмен на королевские. Эти саркофаги установлены в онсальской церкви, в усыпальнице Гатенйельмов, и в одном из них покоится прах Ларса Гате.

19.

...есть нечто от сыновей Лодброка. – Рагнар Лодброк, или Рагнар Кожаные Штаны, – герой известной исландской саги и хроники Саксона Грамматика. Совершив множество подвигов, Лодброк попал в плен к английскому королю Элле, был брошен в змеиную яму и погиб. Его сыновья отомстили за него, вторгшись в Англию и убив короля Эллу. Прототипом Лодброка послужил датский предводитель викингов, живший в середине IX в. У него было пятеро сыновей, которые возглавили поход викингов в Англию.

20.

...поля его шляпы были загнуты на каролинский манер. – Каролинами назывались солдаты армии Карла XII (от лат. Carolus – Карл).

21.

Торпари – безземельные крестьяне, арендовавшие участок земли (тори), за который были обязаны обрабатывать поденно, а также платить землевладельцу оброк натурой.

22.

Тинг – суд в присутствии жителей данной местности.

23.

Король Фредрик (1676–1751) – король Швеции (1720–1751). Был женат на Ульрике Элеоноре, сестре Карла XII, являлся его военным сподвижником и после его смерти добился права на наследование шведского престола.

24.

...готовы были ехать в дальние финские леса... – Имеется в виду заброшенный лесной район на севере Вермланда, место поселения финских колонистов, которые жили в большой нужде.

25.

Фру Леннгрен – Анна Мария Леннгрен (1755–1817), известная поэтесса, автор сатирических стихов, эпиграмм, шуточных песен. Была одной из самых просвещенных женщин своего времени и пользовалась большой популярностью среди шведских читателей, которые обычно называли ее «фру Леннгрен».

26.

Епископ Тегнер – Тегнер Эсайас (1782–1846), шведский поэт, уроженец Вермланда. Окончив Лундский университет, сделал блестящую ученую карьеру и получил звание профессора. В 1812 г. написал поэму «Свеа», принесшую ему первую премию и звание члена Шведской академии. Автор поэмы «Сага о Фритьофе». В 1824 г. был назначен епископом в Векше.

27.

Кронпринц – кронпринц Оскар (1799–1859), впоследствии король Швеции и Норвегии Оскар I. Сын французского генерала Бернадотта, ставшего королем Карлом Юханом XIV. В 1818 г., после вступления отца на престол, был провозглашен наследным принцем. В том же году был избран канцлером Упсальского университета, где посещал публичные лекции Гейера (см. примеч. к с. 87) и других. Близко сошелся с преподавательской и студенческой средой и оказывал значительное влияние на культурную жизнь университета.

28.

Генерал фон Эссен – граф Ханс Хенрик фон Эссен (1755–1824), отпрыск старинного аристократического рода. Государственный деятель и военачальник.

29.

Густав III (1746–1792) – король Швеции (1771–1792). Получил гуманитарное образование, что обусловило в дальнейшем его интерес к литературе, искусству и театру. Двор Густава III был центром культурной жизни Швеции того времени.

30.

Эрик Густав Гейер (1783–1847) – историк, поэт, философ, музыкант. Уроженец Вермланда. Профессор истории в Упсальском университете, автор трудов, снискавших ему славу лучшего историка Швеции. Член Шведской академии. Гейер был центральной фигурой в культурных и литературных кругах Упсалы. В доме его обычно собирались наиболее просвещенные представители упсальского общества, в том числе и упоминаемые в романе полковница Сильверстоле и поэт Аттербум.

31.

Упсальский университет. – В описываемое в романе время Упсала была крупным университетским и научным центром Швеции.

32.

Губернатор Йерта – Ханс Йерта (1774–1847), политический деятель и литератор. Был государственным секретарем и губернатором. Директор государственного архива, член Шведской академии. Издавал литературно-критический журнал.

33.

Полковница Сильверстольпе Магдалена (Малла) (1782–1861) – жена полковника Давида Сильверстольпе, одна из наиболее просвещенных женщин своего времени, хозяйка широко известного в Упсале литературного салона. Опубликовала мемуары, в которых описала многих выдающихся представителей шведской культуры.

34.

...на лекции знаменитого поэта-романтика Аттербума... – Пер Даниэль Амадеус Аттербум (1790–1855) – поэт, профессор философии и эстетики в Упсальском университете, член Шведской академии. Автор монографического исследования по истории шведской поэзии. Основатель романтической школы в шведской поэзии.

35.

Карл Линней (1707–1778) – выдающийся ученый, естествоиспытатель и натуралист, профессор медицины и естественной истории в Упсальском университете. Один из основателей Шведской академии наук и первый ее президент (1739). Создатель системы классификации растений и животного мира, автор всемирно известного труда «Системы природы», а также других выдающихся работ в области ботаники, зоологии и медицины.

36.

Шведская академия. – Основана королем Густавом III по образцу Французской академии с целью совершенствования отечественной словесности. Восемнадцать членов академии избирались из числа выдающихся деятелей шведской культуры – писателей, поэтов, ученых. Раз в год, 20 декабря, происходила торжественная церемония избрания новых членов и вручения ежегодных премий, присуждаемых за выдающиеся работы в области искусства и науки. В период царствования Густава III академия пользовалась большим почетом, но с возникновением романтической школы стала предметом нападок и обвинений в консерватизме со стороны романтиков.

37.

Губернатор фон Кремер – Роберт фон Кремер (1791–1880), губернатор Упсалы. В 1866 г. опубликовал свои мемуары.

38.

...в Кавлосе у Гюлленхоллов... – Гюлленхоллы – шведское аристократическое семейство. Вероятно, имеется в виду Леонард Гюлленхолл (1759–1840), крупный ученый-энтомолог, ученик Линнея, член Шведской академии наук. Кавлос – поместье, принадлежавшее графам фон Эссен.

39.

Фру Торслов – Сара Торслов (1795–1858), выдающаяся шведская трагедийная актриса, игравшая в труппе своего мужа, известного актера Улофа Ульрика Торслова.

40.

Пиетизм – религиозное течение внутри лютеранской церкви, возникшее в XVII в. в Голландии и окончательно оформившееся в Германии. Пиетизм проник также в другие страны, и в частности в Швецию (конец XVII в.). Теоретики пиетизма выступали против ортодоксальной церкви и, проповедуя идею «нравственного самоусовершенствования», ратовали за аскетизм в быту и отказ от всех мирских удовольствий – танцев, театра, курения, употребления спиртных напитков и чтения светских книг.

41.

Англез – общее название для ряда танцев английского происхождения, модных в XVII–XIX вв.

42.

Далекарлия, или Даларна, – область в центральной Швеции, граничащая на юго-западе с Верmlandом. Горная, малонаселенная местность с разбросанными в горах деревнями. Во многих деревнях Далекарлии жители долго сохраняли старинные обычаи и одежду.

43.

Альмквист Карл Юнас (1793–1866) – крупнейший шведский писатель, философ и педагог. Хотя Альмквист и не примыкал к романтическому направлению, творчество его было близко романтикам по духу и пользовалось большой популярностью в упсальских литературных салонах Маллы Сильверстольпе и Густава Гейера. Наиболее известным и значительным в его творчестве является цикл повестей, поэм и романов, объединенных под общим названием «Книга шиповника» (1832–1851). Примечателен один из эпизодов биографии Альмквиста. В 1824 г. он под влиянием руссоистских идей уехал в деревню и женился на крестьянской девушке Анне Лундстрём. Однако брак оказался неудачным, и вскоре Альмквист, оставив жену, возвратился в Стокгольм. Не исключено, что этот факт, который был известен Сельме Лагерлёф, послужил поводом для написания истории Анны Сверд.

44.

Стагнелиус Эрик Юхан (1793–1823) – выдающийся шведский поэт-романтик, автор ряда сборников стихов и драматических произведений. Поэзии Стагнелиуса были присущи богатая фантазия и необычайная мелодичность стиха.